

55380

89

ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE

5380

55380

DISSERTATIONES

SLAVICAE

SLAVISTISCHE MITTEILUNGEN

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ ПО СЛАВЯНОВЕДЕНИЮ

VI.

SZEGED

1968.



55380

ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE

DISSERTATIONES

SLAVICAE

SLAVISTISCHE MITTEILUNGEN

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ ПО СЛАВЯНОВЕДЕНИЮ

VI.

SZEGED  
1968.

**Publicationes Instituti Philologiae Rossicae in Universitate  
de Attila József Nominata**

**VI.**

**Redigit:**

**József Juhász**

**Seriem publicationum edendam curat**

**Imre H. Tóth**

## СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ В ОДЕССКОМ (б. НОВОРОССИЙСКОМ) УНИВЕРСИТЕТЕ

Н. И. Букачевич  
[Одесса]

К 60-м годам прошлого века, когда на юге нашей страны возник новый очаг просвещения и культуры — Новороссийский университет, наука славяноведения в России достигла уже значительных успехов.

Ведущее положение русского народа среди славян, возникновение и развитие национально-освободительного движения у западных и южных славян в конце XVIII—начале XIX в. нашли живой отклик в передовых слоях русского общества и способствовали развитию славяноведческих интересов у русских ученых. Первый замечательный русский славист академик Востоков своим „Рассуждением о славянском языке” (1820 г.) положил начало науке славяноведения и предвосхитил многие положения сравнительно-исторического метода исследования, развившегося в последующее время. Наряду со старейшими университетами нашей страны, где успешно развивалось славянское языкознание, Новороссийский университет вскоре после своего открытия также становится одним из центров славяноведческой науки. Этому способствовало и положение Одессы — близость ее к балканским странами установившиеся с этими странами политические и научно-культурные связи. Уже в первые годы существования университета развернул свои исследования по славянским языкам и литературе один из видных представителей славянской филологической науки первый декан историко-филологического факультета профессор Виктор Иванович Григорович.

Нельзя не удивляться энергии и самопожертвованию этого энтузиаста науки, исходившего в молодые годы все южнославянские страны, часто рисковавшего своей жизнью, но добившегося своей цели. Он собрал огромное количество древних славянских рукописей, изучение которых им самим и другими исследователями способствовало развитию славистической науки. Его труд „Опыт изложения литературы славян в ее главнейших эпохах” положил начало сравнительной истории славянских литератур, а его лекции по сравнительной грамматике славянских языков, вышедшие под заглавием „Славянские наречия” (1884 г.), стали большим вкладом в славянское языкознание и способствовали дальнейшему развитию его.

Дело профессора Григоровича продолжал крупнейший представитель славянского языкознания Игнатий Викентьевич Ягич. Действительный член Российской Академии наук, профессор Петербургского, Белринского, Венского университетов, создатель и бессменный редактор знаменитого „Архива славянской фулологии” („Archiv für Slavische Philologie”), организатор крупнейшего мероприятия Российской Академии Наук — издания „Энцикло-

педии славянской филологии”, автор капитального труда” История славянской филологии” — вот кто был преемником В. И Григоровича в нашем университете. Нельзя не отметить плодотворную деятельность в области славистики и первого заведующего кафедрой русского языка и литературы академика Петра Спиридоновича Билярского. Его „Историко-филологические исследования” пролили свет на судьбу старого именного склонения в болгарском языке, сменившегося новым склонением аналитического типа.

Дальнейшему росту славянских изучений в Новороссийском университете способствовала деятельность ученого — полиглота, знавшего 45 языков, крупнейшего специалиста в области сравнительной грамматики Викентия Ивановича Шерцля. Особенно ценно и интересно его внимание к вопросам словообразования в индоевропейских языках, что так гармонирует с нынешними научными устремлениями членов кафедры русского языка.

На конец XIX в. — начало XX в. падает деятельность в нашем университете таких ученых, которых можно охарактеризовать как славистов широкого профиля.

Это профессор Александр Александрович Кочубинский, 36 лет отдавший работе в Одесском университете и оставивший после себя большое научное наследие.

Это профессор, впоследствии академик Василий Михайлович Истрин, десять лет работавший в Одесском университете и оставивший лучшие образцы филологического изучения древнерусских и старославянских памятников письменности.

Это первый профессор — языковед Новороссийского университета, воспитанный в том же университете, — автор ряда работ по истории языка славянских памятников Михаил Георгиевич Попруженко (с 1888 г.).

В нашем университете получил подготовку к научной деятельности Евгений Федорович Будде, известный славист, историк русского языка, диалектолог.

Наш краткий обзор славистических изучений в Новороссийском университете приводит нас к послеоктябрьскому периоду, когда в нашей стране с большой интенсивностью развернулась разработка вопросов языкознания, в этом числе — и славянского, когда в Одесском университете лингвистические исследования расширились тематически (появились исследования в области украинского языка), когда языкознание стало развиваться на новой методологической основе — на основе учения марксизма-ленинизма.

Связь с лучшими традициями славянского языкознания в нашем университете не прерывалась и после Октября: она имела, так сказать, и персональный характер, так как крупнейшие лингвисты дореволюционного времени продолжали свою научную и педагогическую деятельность в Одесском институте народного образования, а затем в педагогическом институте, явившихся наследниками университета, а с 1937 года на восстановленном филологическом факультете университета.

Среди выдающихся деятелей славянского языкознания в нашей стране надо назвать академика Бориса Михайловича Ляпунова, отдавшего много сил и времени Одесскому университету (с 1901 по 1923 г.), вошедшего в славную плеяду отечественных лингвистов, украшенную именами Ягича, Фортунатова и Поетбни учеником которых был Борис Михайлович. Вместе со своими учителями он принес в языкознание лучшие методы исследования: организацию работы на широком материале, весьма тщательный анализ языкового материала, строгую логическую обоснованность выводов и т. д. и т. д.

Классическим образцом такого изучения признано „Исследование о языке синодального списка I-й Новгородской летописи” (1899 год). Такова же методика и других его исследований и многочисленных рецензий на труды выдающихся славистов — языковедов. Каждая из рецензий Гориса Михайловича — это ценное научное исследование. Многие положения, утρεдвившиеся в славистической науке, составляют заслугу академика Б. М. Ляпунова. Это, например: обоснование существования диалектов в праславянском языке, допущение возможности развития общих языковых черт в славянских языках после выделения их из языка-предка и пр.

Другой крупный ученый этого периода — член-корреспондент Академии Наук Александр Иванович Томсон, посвятивший работе в Одесском университете 34 года (до 1931 г.), — главное внимание сосредоточил на вопросах общего языкознания. Однако, он внес ценный вклад и в науку славянского языкознания. Центральная проблема его исследований в этой области — происхождение и развитие падежных форм в славянских и других индоевропейских языках.

В большом исследовании „К синтаксису и семасиологии русского языка” (1903 г.) А. И. доказал плодотворность проникновения исследователя в историю балтийских языков для выяснения вопросов о развитии грамматических форм в славянских языках. Талантливый ученик профессоров Ляпунова и Томсона Петр Афанасьевич Бузук, несмотря на кратковременную работу в Одесском институте народного образования (переехал на работу в Минск), напечатал в Одессе ряд трудов по общему и славянскому языкознанию, а в 1927 г. выпустил ценную книгу „Нарис історії української мови”.

Оживлению славянских изучений в Одессе в 30-х годах способствовала деятельность видного слависта, тогда еще молодого ученого, Самуила Борисовича Бернштейна, возглавившего кафедру болгарского языка и литературы в Одесском педагогическом институте (на болгарском факультете) а ныне заведующего сектором славянской филологии Института славяноведения АН СССР.

К этому времени относится расцвет научной и педагогической деятельности профессора П. О. Потапова. Это был филолог широкого масштаба: его интересы были направлены на историю русской литературы, русского театра и историю русского литературного языка. В ряде работ П. О. отразились и славистические интересы в собственном смысле. Им подготовлено было к защите в качестве докторской диссертации капитальное исследование „Славянский перевод хроники Зонара” (1944г.), издана была для студентов — филологов весьма полезная книга „Курс лекций по старославянскому языку” и ряд других трудов. Видный специалист по славянскому языкознанию профессор М. В. Беляев с 1944 по 1948 год возглавлял кафедру славянского языкознания в нашем университете и много сделал для подготовки славистов - языковедов. Его ученики плодотворно работают на этом поприще и в нашем университете (доцент Павлюк Н. В.) и в других вузах (доц. Матрынов Виктор Владимирович — в Минске). Тяжелая болезнь и смерть не дала возможности М. В. завершить сравнительную грамматику славянских языков, над которой он работал много лет.

Огромный вред делу развития славянского языкознания в 30-х-40-х годах принесло так называемое „новое учение” о языке, связанное с именем Марра. В период господства марровских концепций в языкознании сравнительно-историческое изучение языков подверглось гонению. Исходя из фантастической теории единства глоттогонического процесса и антинаучного

понимания скрещивания языков, Марр и его последователи решительно отрицали достижения сравнительно-исторического языкознания, которому такое огромное значение придавал Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

Освобождение языкознания от цепей, наложенных на него Марром и его последователями, способствовало оживлению этой науки и расцвету ее на подлинно-марксистских методологических принципах.

В 50-х годах оживилась работа и наших языковедческих кафедр.

Кафедра русского и кафедра украинского языка, помимо своей прямой тематики, значительное внимание уделяют вопросам славянского языкознания.

Появляется ряд работ обзорного характера, как бы подводящих итоги славистическим изучениям в Одесском университете: статья Н. В. Павлюка „Славянское языкознание в Одесском (Новороссийском) университете за 90 лет”, статья „Развитие русского языкознания в Одесском университете (авторы Букатевич, Мижевская) и другие работы.

В исследованиях по фонетике, грамматике и лексике русского и украинского языков применяется сравнительно-исторический метод, способствующий более глубокому вскрытию языковых процессов и установлению закономерностей развития русского или украинского языка на фоне общеславянских изменений. К такому типу исследований принадлежит монография „Опыт исторического изучения предлогов и предложных сочетаний в русском литературном языке” (автор Букатевич);

„Историческая грамматика русского языка, законченная в 1965 г. (авторы Букатевич, Савицкая, Усачева);

„Исторична морфологія української мови” (докторская диссертация Степана Филипповича Бевзенко).

В работах *меньшего масштаба* в соответствующих случаях также привлекается материал из других славянских и индоевропейских языков в сравнительно-историческом плане.

К этому типу работ относятся, например:

1. „Форми давального-місцевого відмінка однини на-ові українських іменників на тлі загальнослов'янському (С. Ф. Бевзенко);

2. „Развитие украинского литературного языка в связи с развитием русского и белорусского литературных языков” (А. А. Москаленко).

3. „Характеристика граматичної термінології української мови в порівнянні з термінологією інших слов'янських мов” (Надежда Артемьевна Москаленко);

4. „К истории одной общеславянской словообразовательной модели в русском языке” (Смольская).

5. „Главнейшие суффиксы прилагательных в древнерусском литературном языке” (Букатевич) и др.

Благодаря привлечению материала из других славянских языков научный вес таких работ возрастает.

В науке славянского языкознания особо важное место занимают те исследования, которые строятся на материале нескольких или всех славянских языков и ведут к научным обобщениям широкого характера, раскрывают закономерности, действующие в какой-нибудь группе славянских языков или во всех славянских языках. Такие работы выполнены членами кафедры русского языка и некоторые из них доложены на 4-й республиканской славистической конференции, состоявшейся в 1961 г. в Одесском университете:



„О некоторых образованиях от местоименных корней в современных славянских языках” (доложил Букатевич), „О формах инфинитива в славянских языках” (доложила Савицкая), „Названия денежных знаков в славянских языках” (доклад Рядченко).

Большое значение в славянском языкознании имеет проблема связей, взаимоотношений и взаимовлияний в славянских языках. Такие вопросы явились объектом исследования на кафедре украинского языка: вопрос ” О западнославянских лексических элементах в украинских говорах Одесской области” — изучила тов. Терешко, „О южно-славянских элементах в украинских говорах юга Бессарабии” (тов. Дроздовский), „ О полонизмах в языке украинских деловых документов середины X VII в.” (тов. Ткач и др.).

Как определенный этап исследования на пути от отдельных языков к славянским языкам в целом в лежит изучение исторически сложившихся 3-х групп славянских языков. Для нас, по понятным причинам, особо важное значение имеет исследование восточнославянских языков. Эту серьезную задачу выполнил коллектив из шести человек: от кафедры русского языка Савицкая, Букатевич, Мижевская; от кафедры украинского языка: Грицотенко, Павлюк, Смагленко. Составленные ими „Очерки по сравнительной грамматике восточнославянских языков” представляют собою учебное пособие для студентов-филологов.

Появление этой книги, посвященной IV Международному съезду славистов, вызвало весьма одобрительные отзывы. В рецензии, напечатанной в журнале „Українська мова в школі” (№ 5 за 1960 г.) читаем: „Поява цього посібника є великою подією в радянському мовознавстві; великою заслугою його авторів, заслугою Одеського державного університету”. Труд этот встретил положительную оценку и за пределами нашей страны.

В журнале „Ассоциации славистов Румынской Народной Республики „Romanoslavica” (т. IV за 1960 г., издающемся под редакцией академика Эмиля Петровича, в рецензии Екатерины Тодор, эта работа оценивается „как одна из важнейших в области славянского языкознания, полезная для тех, кто изучает славянские языки в сравнительном плане”.

Наша сравнительная грамматика, представленная на экспозиции IV-го Международного съезда славистов, получила одобрение участников этого замечательного форума языковедов мира. Интерес к углубленному изучению восточнославянских языков отразился и в том, что кафедра русского языка выполнила ряд исследований по проблеме „Двукоренные образования с первым местоименным компонентом в восточнославянских языках” (1962 г.). В настоящее время в составе языковедческих кафедр филологического факультета выросли достаточно квалифицированные специалисты по славянским языкам, с успехом читающие общие и специальные курсы польского, чешского, болгарского языков. У нас появляются и исследования по вопросам славянского языкознания.

Старший преподаватель кафедры русского языка Наталья Викторовна Коссек подготовила к защите кандидатскую диссертацию на тему: „Предложные словосочетания с глаголами движения в болгарском языке”.

Подъему качества исследовательской работы по языкознанию способствует и то, что члены кафедры русского и украинского языка успешно овладевают точными методами исследования языкового материала.

Особенно плодотворно работают в этом направлении товарищи Мартыновская, Тулина, Коссек, Касим.

Отмечая определенные достижения в области славянского языкознания; наши языковеды считают необходимым расширить в дальнейшем свои исследования, поднять их качество на более высокий уровень.

Для этого, в ряду соответствующих мероприятий, должно найти место и такое, как организация на филологическом факультете кафедры славянского и общего языкознания.

## ФЛЕКСИЯ —У МЕСТНОГО ПАДЕЖА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГОРОДА В ДРЕВНЕПСКОВСКИХ ПАМЯТНИКАХ

И. Х. Тот

В нашей статье мы ставили перед собой целью изучить распространение и правила пользования флексии —у в м. п. ед. ч. существительных м. р. с основой на *o/i* о. Источником наших исследований служили Псковские летописи. Из них мы исследовали Синодальный, Строевский и Тихоновский списки Псковских летописей.<sup>1</sup>

Наши материалы можно разделить на следующие группы:

1. Существительные с основой на -г, -к, -х:

Строев. на Волку 2176, в Торъжскоу 1986, на Мале Борку 174, на Острогу 167, в полку 1596, на Торгоу 196, 2096,

Син. На Малом Боркоу 26, в Торгу 38, 40, 73, 86, 82, 175, 14. *оу* (=v) Смоленску 756, в Видебску 756, в городку 1026, на верхоу 1236, в Полочку 125, 1256, (bis), 2366, в Торжскоу 1416, 142, 147, на Старом торгоу 210, на еванском лугоу 210, на большом кругоу 213.

Тих. На Мале Боркоу 306, в Полотъску 30, 316, во воску 46, в берегоу 536, в городку 78, в Изборску 30 (bis), 80, в Торгу 316, 55, 56, 656, 40.

Всего 40 случаев употребления флексии —у после г, к, х.

2. Существительные с основой не на -к, -г, -х после предлогов *въ*, *на*.

Син. на Бороу чисте 163, на миру 170, 172, 176, 1766, 1996, в куту 180, на броду 183, на Крому 187, 189, 196, 200, 2006, 202, 2046, в тыну 1876, на леду 1966, в полоноу 1996, в домоу 218, 2156, 219.

Строев. На Бору чисте 16, на леду 116, 1236, на мироу 136, 19, 31, 35, 476, 66, 816, 946, на том бою 206, *оу* (bis), Крому 406, (bis) 2276, *оу* (=v) домоу 63, въ Крему 70, в полону 81, (bis), на Крому 60, 86, 92, 1006, 105, на столу 1006, 119, 185, 191, в иноческом чиноу 113, в домоу 85 (bis), 121, 1226, 154, 1546, 155, 157, на лбу 128, в каковом саноу 137, на станоу 1446, на том трупу 145, на меду 155, на соуду 189, в пепелоу 218, на вечном мироу 233.

Тих. на ледоу 22, 226, на миру 24, 28, 36, 606, 72, в домоу 63, 636, 646, 65, 79, во иноческом чину 85(bis).

После *в* и *на* существительные не на *к*, *г*, *х* оканчиваются на -у в 85-ти случаях.

3. После предлога *о*.

Син. *о мироу* 194 (bis), 1946,

<sup>1</sup> Мы воспользовались следующими изданиями Псковских летописей: Псковские летописи вып. I, М., 1941, Псковские летописи вып. II, М., 1955, Синодальный, Строевский и Тихоновский списки Псковских летописей обозначаются нами следующими аббревиатурами: Син, Строев, Тих.

Строев. *о мироу* 1076, 115, 1586, 2166, 231, *о том же мироу* 158, Тих. *о миру* 816, 86, *о посадникоу* Илии 216.

В Строев. мы обнаружили сомнительный пример употребления -у в следующем случае: а что ни большей воевода *в воиску* 189. А. И. Соболевский, говоря о распространении флексии -у в м. п. существительных среднего рода, приводит из Литовского статута форму на -у существительного *воиско*<sup>2</sup>. Однако помимо существительного среднего рода *воиско* существовал и вариант *воиска* женского рода в значении „bellum”. По контексту мы считаем вероятным, что мы имеем дело с существительным *воиска* (= bellum). Итак, форма *воиску* не может свидетельствовать о воздействии флексии -у на существительные среднего рода. По данным Син., Строев. и Тих. флексия -у в м. п. ед. ч. была распространена только у существительных м. р.

В изучаемых нами списках Псковских летописей следующие существительные оканчиваются на -у в м. п. ед. ч.

Односложные: *Борь, бродь, чинь, домь, Кремь, Кромь, кругь, куть, ледь, лобь, лугь, медь, мирь, полкъ, сань, стань, столъ, судь, торзь, трупь, тынь, верхь, воскь*.

Дву- и трехсложные: *берегь, Борокъ, городокъ, Изборскъ, Острогь, пепель, Полоцкъ, (Полочкъ), полонь, посадинкъ, Смоленскъ, Торжокъ, Витебскъ, Волокъ*. Соотношение односложных и дву- и трехсложных существительных 22:13 в пользу односложных. Они имеют флексию -у в 110 случаях, дву- и трехсложные оканчиваются на -у в 27 случаях. Среди 35 существительных, имеющих флексию -у в м. п. ед. ч., встречается только одно одушевлённое существительное: *о посадникоу Илии* Тих. 21. Единственный пример наличия -у в м. п. ед. ч. у одушевлённого существительного требует особого объяснения, поэтому мы остановимся на этой форме.

А. И. Соболевский отмечает, что псковские памятники X—XIV вв. имеют форму на -у м. п. ед. ч. от личных имен: *при попе Паруху, при Борису*.<sup>3</sup> Известна флексия -у в этом падеже у одушевленных существительных и в белорусском языке. В южновеликорусских говорах XVII века употребление -у в одушевленных существительных и личных именах было широко распространено.<sup>4</sup>

По нашим данным в рассмотренных нами списках Псковских летописей имеется только один случай флексии -у в м. п. ед. ч. у одушевленного существительного. Язык Псковских летописей отличается от южнорусских и белорусских памятников тем, что в них флексия -у в м. п. ед. ч. не была распространена. Употребление флексии -у в м. п. ед. ч. можно считать наносной чертой, свидетельствующей о влиянии южновеликорусских или белорусских говоров на язык Пскова.

А. А. Шахматов, изучая распространение флексии -у в м. п. ед. ч. существительных м. р. с основой на *o/i/o* отмечает, что укоренение новой флексии ускоряли благоприятные условия, к которым он относит наличие заднеязычных согласных *к, г, х* в основе существительных с одной стороны и подвижность ударения с другой.<sup>5</sup> Наличие определения препятствовало расширению флексии -у.

Заслуживает внимания тот факт, насколько облегчали эти „благоприятные условия” употребление флексии -у в м. п. ед. ч. существительных м. р. Однако затрудняет изучение вопроса этих моментов то обстоятельство, что

<sup>2</sup> А. И. Соболевский. Лекции по истории русского языка. М., 1907, стр. 172.

<sup>3</sup> А. И. Соболевский. Ук. соч. стр. 172.

<sup>4</sup> С. И. Катков. Южновеликорусское наречие в XVI столетии. М., 1963, стр. 171—172.

<sup>5</sup> А. А. Шахматов. Историческая морфология русского языка. М., 1958, стр. 249—250.

издание Насонова не обозначает ударения оригиналов Син., Строев. и Тих. Обращение к другим памятникам XV—XVI вв., или использование данных акцентуации современного русского языка по нашему мнению не является целесообразным и не окажет помощи в решении вопроса. В виду этого, мы остановимся на анализе двух проблем: на особенностях употребления флексии -у в существительных с основой на к, г, х и на вопросе определения.

Существительные с основой на к, г, х оканчиваются на -у в 40-ка случаях.

Наши данные можно разбить на две группы:

- а) существительные только с флексией на -у,
- б) существительные с колебанием флексий -у, -е, -е.

К первой группе относятся следующие слова: Борокъ, кроугъ, лугъ, Острогъ, полкъ, торгъ, верхъ, волокъ, воскъ.

К другой группе можно отнести все остальные слова с основой на -к, -г, -х: городокъ, берегъ, Полоцкъ, Видебскъ, Смоленскъ, Избороскъ. Что касается последней группы, особо надо выделить названия городов на -ск, и -цк-<sk. Исследователь Уложения 1649 г., П. Я. Черных, отмечает что в Уложении 1649 г. эти существительные „как правило” имеют -у. Он же приводит данные из „Росписи крестьянских дворов 1673 г.”, в которых окончание -у является безисключительным. В Син., Строев. и Тих. названия городов на -ск (-цк) имеют флексию -у и флексию -е. Приводим данные из них: *въ Изборске* Син. 155, *в Изборске* (bis) Син. 173, *в Изборске* Строев. 146, 286, 576, 1056, *в Изборску* Тих. (bis) 30, *в городе Смоленске* Син. 1966, *в Смоленске* Син. 2186, *оу Смоленскоу* Строев. 75, *в Видебскоу* Строев. 756, *в Полотске* Син 178, *в Полочкоу* Строев. 126, 1256, (bis) 136, *в Полотьску* Тих. 316.

Соотношение флексий -у и -е (-е): 16:5 в пользу форм с -е. Только одно географическое название не колеблется в флексии -е -у: *Видебскъ*, которое оканчивается только на -у. Все это дает нам основу утверждать, что флексия -у в названиях городов не безисключительная. Соотношение флексий -е -у в основах на -к, -г, -х 84:40 в пользу окончания на -е. Разбор употребления флексий на -е, -у после к, г, х показывает, что заднеязычные не требовали флексии -у вм. -е ни в основах на к, г, х ни в названиях городов на -ск, цк.

В приведенных выше примерах флексия -у встречается после предлогов *в* и *на*. Однако имеется во всех трех списках Псковских летописей 12 случаев флексии -у после предлога *о*. Интересно, что за исключением одного примера *о посадникоу* Тих. 216, только существительное *миръ* оканчивается на -у, принадлежность которого к основам на -й является вероятной. Надо отметить и то, что слово *миръ* известно и с флексией *е*: *на мире* Син. 161, Строев. 10, 56 *о мире* Строев. 138, *в мире* Тих. 11. После определения тоже употребляется флексия -у: *о том же миру* Син. 158. Если предположим, что форма *посадникоу* Тих. 216 по происхождению наносна, заимствованна, то можем констатировать, что флексия -у, за исключением существительного *миръ*, была распространена в древнепсковском говоре только после предлогов *в* и *на*. Наши наблюдения полностью совпадают с выводом А. А. Шахматова о том, что „В положении после других предлогов формы на -у вообще неизвестны, Исключение составляет слово *миръ*, как исконная основа на -й”<sup>6</sup>. Эти нормы употребления флексии -у, как это можно извлечь из выводов А. А. Шахматова, можно считать общерусскими, отклонения от которых в отдельных диалектах русского языка допустимы. Данные Псковских летописей не расходятся с общерусскими

<sup>6</sup> А. А. Шахматов. Ук. соч. стр. 253.

нормами наличия флексии -у. Форма на -у в слове *миръ* поднимает вопрос о том, насколько часто получали -у в м. п. ед. ч. существительных с былой основой на -й. В литературе количество этих существительных не определено точно. Наряду с существительными *домъ, поль, върхъ, медь, вошь, сынъ*, которые большинством исследований признаются как основы на -й, можно предполагать принадлежность других существительных к -й основе: сюда относятся еще *миръ, чинь*. Этот класс существительных имеет флексию -у в м. п. ед. ч. в 40-ка случаях. Из них только *миръ* известен с вариантом -е-у, слово *сынъ* не сохраняет исконную флексию, остальные существительные оканчиваются только на -у. Это обстоятельство дает право предложить, что основы на -й сохраняют довольно консервентно -у и таким образом способствуют его проникновению в о-основы.

А. А. Шахматов отмечает, что распространению флексии -у в м. п. ед. ч. препятствовало наличие определения. В Син., Строев. и Тих. мы обнаружили 12 случаев употребления -у при определении. Они распределяются следующим образом:

После *к, г* 5 случаев, у существительных -й -основ 5 случаев, остальные слова — 2 случая. В этих примерах -у при определении употребляется после предлогов *-в, на, о*. Наши наблюдения совпадают с высказыванием А. А. Шахматова о том, что при определении существительные реже имеют -у. Нарушают эти отношения существительные на заднеязычные и былые основы на -й. В других случаях флексия -у при определении крайне редка (2 раза). Интересно, что единственный пример флексии -у в мягком варианте о-основ встречается при определении: *на том бою* Строев. 20б. По данным изученных нами списков Псковских летописей существительные м. р. на мягкий согласный не усвоили флексии -у в м. п. ед. ч.; ее появление является только спорадичным, единственный случай данной флексии свидетельствует о начальном этапе распространения флексии -у.

Подытоживая результаты наших исследований, мы можем сделать следующие выводы о закономерностях употребления флексии -у:

1. В Син., Строев., Тих. списках Псковских летописей флексию -у в м. п. ед. ч. получают главным образом односложные существительные мужского рода.

2. Существительные среднего рода, как правило, не оканчиваются на -у.

3. Одушевленные существительные, за одним исключением, не знают флексии -у.

4. -у употребляется после предлогов *в* и *на*, однако имеется несколько случаев (11) существительного *миръ* (которое можно отнести к основам на -й) с флексией на -у, *е* после *о*. После *о* в одном случае встречается -у в м. п. одушевленного существительного *последникъ*. Последний случай можно объяснить как наносную черту в псковском говоре XV-XVI вв.

4. Хотя существительные с основой на *к, г, х* часто оканчиваются на -у в м. п. ед. ч., мы не обнаружили тенденции того, что существительные на *к, г, х* чаще имеют -у, чем слова не на *к, г, х*. Названия городов на *-ск, -цк* помимо -у имеют и флексию *-е -е*.

5. Флексия -у за одним исключением встречается только в твердом варианте существительных с былой основой на *o/ю*.

6. Наличие определения ограничивает употребление -у, однако, нам кажется вероятным, что существительные с былой основой на -й и при определении сохраняют свою исконную флексию.

## К РУССКОМУ НАРОДНО-РАЗГОВОРНОМУ ЯЗЫКУ XVII В.

На материале частной переписки Безобразовых

П. Шонкой

Все исследователи истории русского языка, авторы статей, посвященных изучению процесса формирования и становления русского национального языка сходятся во мнении, что XVII век — чрезвычайно значительная эпоха в этом отношении<sup>1</sup>. Именно в этот период начинают радикально развиваться и все шире распространяться те особенности, которые становятся характерными для русского литературного языка. Начиная со второй половины XVI в., при известных исторических, политических и экономических условиях оказывается всё более заметным то новое качество языка, которое рождалось, складывалось вследствие постоянных, хотя и незначительных, количественных изменений. Язык постепенно устраняет все свои ненужные элементы, но этим он не беднеет, а, напротив, непрерывно обогащается. Многие языковые категории, грамматические формы, унаследованные от предыдущих столетий передают своё место новым, более жизнеспособным. XVII в. — это этап развития русского национального языка, на котором отражаются как старые, пережиточные формы, так и новые (их больше старых), пробивающие себе путь к совершенствованию, улучшению. К исследуемому времени уже много новообразований, явлений и черт, отличающих язык от его состояния прежних эпох, хотя в некоторых областях сравнительно упорно держится и старина.

Дошедшие до нас различного рода письменные памятники в большинстве случаев дают сведения о книжном языке, о языке более-менее образованных людей. Материалы частной переписки известных русских семей XVII в. ценны как раз тем, что они делают возможным представить себе состояние просторечия, живой разговорной речи. В состав таких материалов входят и документы, грамотки, челобитные и сказки, отличающиеся меньшей обработанностью, которые писали или получали члены семьи Безобразовых. Писцами текстов сборника были родственники Безобразовых, приказчики, дьячки, старосты и др., в большинстве полуграмотные люди, жившие на обширных территориях России от Боровска до Алатыря и от Кром до Вологды<sup>2</sup>. В языке документов наглядно показываются диалектизмы, и те общие черты, в силу которых настолько близки друг другу русские диалекты, особенно в самой важной области языка: в грамматическом строе. С точки зрения направления развития решающим является последнее обстоятельство.

<sup>1</sup> Ценные статьи в связи с этой темой содержатся во многих сборниках; так напр. „Вопросы образования восточнославянских национальных языков”. М., 1962; „Начальный этап формирования русского национального языка”. Л., 1961, и др.

<sup>2</sup> см. „Введение” к сборнику, стр. 4.

В области фонетики уже налицо явления, свойственные позднему литературному языку, как напр. *аканье*, переход *е* в *о*, изменение *и* в *ы* после твёрдых согласных, и др. Аканье имеет место не только в южновеликорусских говорах, но и в отдаленных губерниях, на территории Москвы и севернее: *ис своего убогова прудишка. . . корасеи* 11; *я убогаи* 12; *для таво* 13; *для моево къ себе прашенья* 18; *оборони меня от арлян* 23; *лошеди дароги* 67; *пожалуашь. . . попаматовать* 80; *Никон манах умре и нагребение ему будет* 115; и пр. Переход *е* в *о* представлен также многочисленными примерами: *золо я о томъ печален* 39; *от тех гсдрь их побои одва через двор перебряду* 54; *межсавал, межсавое дело* 43; *писцовою межсою*; *их земля отмежована* 43; *у нас на Вороноже* 97 наряду с *Воронеже* в том же письме; *пошли оне от Ыстратовскои жаны* 58; *чтоб он тех моих крстьян поставил во Ржове* 28; *плачетца сирата твои земскои дячок* 58; *пошол, пришол, пошодчи, приходчи*, и др. Что касается изменения *и* в *ы*, оно пользовалось широкой употребительностью в говорах, начиная с XIII-го в., причиной которого И. Д. Русинов считает иноязычное влияние<sup>3</sup>: *взят велено в Ыгумнова у Тмитрея скаски* 30; *об ыных своих делах* 33; *с Ываном Ильным* 39; *зы ыными* 125; *с ыными* 133; *приходил к ним в ызбу являт и в ызбе не был; сы Иваном, с обысковъ, сыскавали* 31, и др.; примеров подобного рода можно было бы привести немало. Характерное для многих говоров изменение сочетания *-чн-* в *-шн-* отражается в большом количестве случаев: *С Тотяною Илинишною* 13; *я нарошна велел* 43; *остатошныи деньги* 71; *вешно вам работает* 81; написание *мошно, немощно, конешно* встречается несколько раз. Такие формы С. П. Обнорский приводит со многих мест<sup>4</sup>; данное явление он считает „органической чертой Московской области, с вероятием также Рязанского края”<sup>5</sup>. Возможную причину, вызывающую переход *чн* в *шн* в южновеликорусских говорах С. И. Котков видит в утрате затвора аффрикаты *ч*.<sup>6</sup>

Из мелких фонетических явлений обращают на себя внимание следующие: на разнообразную природу согласного *Г* указывают графические формы *етман-гетман-отоман*; *преятеля, мерел*; *прижние, видить* (инф.) *укривал, крилице; получить, очы* и др.

Некоторые замечания по морфологии языка сборника: неопределенная форма глагола не вызывает особенных замечаний. Суффиксом инфинитива выступает преимущественно *-т(ь)*; формы на *-ти, -чь* только в ничтожном количестве, причем *ти* может быть и безударное, а ударяемое *-ти* может и редуцироваться. Суффикс *-ти* в основном обнаруживается в зачинах и заключениях грамоток: *Я того слышати всегда желател* — во многих письмах; *мне б слышав о твоёмъ здорове радоватис* — также частое сочетание; в формуле „*подоитити блиско поклонитися ниско вручити честно*” чувствуется влияние книжного традиционного языка; в этом же тексте отмечается и обычный по звучанию инфинитив: *дерзнуть о том не смели* 60. Дальнейшие примеры: *я им велел ево к тебе отвезть* 13; *к Москве бресть мне мочи нетъ* 13; *бесчестья себе и вамъ не принестъ* 13; *дуб высекли и вывестъ велимъ вскоре* 14; *перевестъ в кромскую дрвню* 29, наряду с *принести* 64; *станут беречца* 77; *изволил ты. . . речь* 101. Небезынтересно принимать во внимание образования от глагола *ИТИ*: *хотели поитит в Глуховскои уезд* 20; *вовсе поитит никуда не мочно* 49;

<sup>3</sup> И. Д. Русинов: К истории И > Ы в древнерусском языке после твердого предложного и префиксального согласного и в других сходных случаях. *Dissertationes Slavicae* t. III. стр. 3.

<sup>4</sup> С. П. Обнорский: Избранные работы по русскому языку. М., 1960, стр. 238—243.

<sup>5</sup> см. там же, стр. 245.

<sup>6</sup> С. И. Котков: Южновеликорусское наречие в XVII столетии. М., 1963, стр. 139.



притит с чистым сердцем 48. Такие приставочные осложненные формы известны и современным южновеликорусским говорам<sup>7</sup>; их появление П. Я. Черных объясняет воздействием основы наст. вр., а исчезновение согласного Д — результатом межслоговой ассимиляции.<sup>8</sup>

Возвратная частица *ся* (графически передается в видах *-(т)ца*, *-(ти)ся*, *-(ти)с*, *-(ть)ся*, имеются даже случаи *надеятьца*, *плачеца*) присоединяется непосредственно к соответствующему глаголу (норма произношения совсем очевидна). Форма *СЯ* обнаруживается и после конечного гласного глагола.

Личные окончания наст. вр. глаголов не нуждаются в объяснении; во 2 л. всегда *-ш(ь)*, представляют собой исключения всего два случая на *-ши*: *безсмертенъ мнишися* и *страшнаго грознаго суда не боишися* 10.

В 3-ем л. ед. и мн. ч. имеются графически оформленные примеры на *-т* и *-ть*. Точному определению твердости или мягкости окончаний *-т* мешает тот факт, что знак *Ь* в конце слова почти всегда пропускается на письме; в инфинитиве он пишется лишь иногда, а в 3 л. — никогда. Любопытно, что в 3 л. после *-т* сравнительно часто ставится знак *Ь*: *молвить*, *кладуть*, *крадутъ*, *несуть*, и др. *Форм без -т не отмечено*. Употребительны параллельные образования *будет* и *буде*, но форма *буде* обнаружена исключительно со значением союза. Остатками старого атематического спряжения являются *весть*, *дасть*, *дамь*, *дашь*.

Будущее время находит себе выражение несколькими\* способами: а) формами наст. вр. от глаголов совершенного вида (в которых значение совершенности неоспоримо): *не положить во гроб с нами ничево* 10; *тебе поднесут людишки мои ростис* 20; *стану перед спасовым образом* 10; б) сочетанием спрягаемых форм наст. вр. глагола *Стать* + инфинитив главного глагола: *мы станем за него приминатца* 15; *а будет Яков станет на нас бит челом* 43; в) сочетанием типа *я тот час к Москве буду*; г) конструкцией *быть* + инф.: *я буду с лица на лицо говорит* 39; наконец, сочетанием наст. вр. глагола *быть* + им. п. существительного: *я твоеи млсти зимою буду платещик* 53.

Старая система прошедших времен в XVII в. уже полностью исчезает, для выражения действий в прошедшем времени употребляется одно лишь средство — бывшее Л-овое причастие. Остатки старины отмечены в sporadических примерах: *о сем писах* 46; *Никон манах умре* 115; *выручили есми* 141. В фрагменте одного из писем находится странное с точки зрения восточнославянских языков сочетание *свель боль: дворовои твои человекъ... збежал о светои недели и свель боль (с) собою крестьянина Захарку* 124. Принадлежности его к конструкциям *было* + глагол в прош. вр. противоречит факт, что в данном примере действие завершилось (о чем свидетельствует продолжение предложения: *и тот Захарка пришлоь на оборотъ две недели гулявь*), тогда как сочетания *было* + глагол в форме прош. вр. всегда обозначает начавшееся, но не завершившееся действие:<sup>9</sup> *я была тебе... те пищали поделал и против твоеи грамотки те пищали мерюю не сошлис* 97; *мы холопи твои выехали было жат и Кривцовы... сами выехали с людми* 121; здесь показана и причина, препятствующая завершению намеренного действия. Такую же особенность имеем в предложении *племянники мои хотели били (так!) ехат... а нне для злои дороги роздумали* 77.

<sup>7</sup> там же, стр. 207.

<sup>8</sup> П. Я. Черных: Историческая грамматика русского языка. М., 1954, стр. 270.

<sup>9</sup> см. об этом: Грамматика русского языка. Изд. АН СССР т. II/1, стр. 394.

Заслуживают внимания бесприставочные глаголы многократного вида с суффиксами *-ыва-, -ива-, -ева-, -ва-, -а-*: *записи не даывал* 22, 25; *онь попь Ивань не служивал* 30; *попь у нас Трифан не молитвивал* 30; *нашвали землю* 45; *говаревал* 46, 48, *говаривал* 42; *дела не кладывал* 75; *к допросу руки прикладывает никому не веливал* 23; *стоявали з дровами* 47, и др. Хронологический порядок этих образований мог быть таков: *служить—отслуживать—отслужить—служивать*,<sup>10</sup> т. е. тип *служивать* — появилось позднее, путем отпадения приставки. Приставочные глаголы многократного вида представлены в рассматриваемых документах многочисленными примерами: *и одново не приезживал в мнстрь и перед собою панахиды не отпевывал* 10; *в село не перехажевал* 30; *в Оръзамазя сыскавали* 31; *я к тебе... приказавал словом* 39; *нигде не объявлялся* 56; *еще не присыловали* 125, и др. В одном и том же тексте, рядом существуют разные степени образования: *я ему бивал челом чтобы он побил челом околничему и Василеи бил челом околничему* 42. Интересны и случаи *Прошюя* 48; *я шлюс на отца* 79, *в лес в наш бы их не пущат* 43, *я начяюс того* 60, *ворочелся с Ертановки* 77, и т. п. Все эти данные свидетельствуют о движении в области глагольного вида, о том, что в XVII столетии категория вида еще не была стабилизирована. В эту эпоху она переживает процесс эволюции и становится характерной чертой русского глагола в современном понимании слова только в XVIII в.<sup>11</sup> Не случайно, что все исследователи говорят о вышеупомянутом явлении всегда в связи с судьбой категории вида. Также нельзя считать случайным факт, что с начала XIX в. все более быстрыми темпами утрачивается многообразие видовых выражений. Показания материалов дают основания предполагать, что развитие кат. вида завершилось не раньше конца XVIII в. В образованиях типа *кладывал* господствует выражение нечто давно и длительно бывшего. Эта сторона их значения настолько сильно, что она может приводить исследователей даже до отрицания причислить их к видовым образованиям.<sup>12</sup>

Глаголы характеризуются и многозначностью и многообразием их управления. Показательны в этом отношении глаголы напр. *СТАТЬ* и *ЧИНИТЬ*: *стану перед спасовым образом* 10; *потриарха Никона не стало на дороги* 12; *я за тобою ходит стану* 26; *те нонеча на правезе стоят* 34; *мне гсдрь стоит десяти Шестаковых твое жалованя приятство* 42; *река стала во многих местех* 46; *за воров стоять*, и др.

Имена существительные также претерпевают процесс упрощения, выравнивания древних основ, особенно в множ. числе. Исконные падежные формы сохраняются преимущественно в ед. ч., где отмечено разнообразие, смешение старых флексий с новыми, совместное существование бывших окончаний и новообразований.

В склонении всех родов наблюдаются следующие „исключения“: 1. В им. п. *-а* основы необычна форма *внука*: *о здорве внуки своец* 62; 2. слово *братя* имеет при себе согласованное определение то в ед., то во множ. числе: *моя братя* и *мои братя*; 3. в род. п. *-а* основ имеем формы на *-е*, появившиеся

<sup>10</sup> см. В. И. Борковский—П. С. Кузнецов: Историческая грамматика русского языка. М., 1963, стр. 291.

<sup>11</sup> М. А. Соколова: О некоторых морфологических и синтаксических данных русского языка начального периода формирования русской нации. Сб. Начальный этап... стр. 40.

<sup>12</sup> так, напр. Е. Н. Прокопович: Об употреблении прошедших времен глагола в русской письменности второй половины XVII века. Сб. Материалы и исследования по истории русского языка. М., 1960, стр. 267.

под влиянием мягких основ: *а впрѣд его ж владыке воля* 88; *не одной твоєю половине* 42; 4. в дат. и пр. пп. имен с основой на *-а, -ја* отражается взаимодействие мягкой и твердой развидности, при наличии старинных форм: *я по воли гсдни. . . жив* 61; *по нашей земли — на той земли* 45; *учали ево по деревни искат* 111; *гсдрю или Аврамевицу* 69; *къ Ильги пророку* 104; *къ Юри* 140; *тебе и невестьки Агафы* 41; *Петромъ завуть Жемьчюжников по выписки* 12; *по писцоваи книги* 32; *к масленицы* 31; *о той мелницы* 79; *в дрвнишки своєю* 11; 5. По свидетельству данных конструкция типа *отдат сия грамотка* была широко распространена и жива во многих говорах: *про нево мошно баня вытопит* 124; *взят бы братец гсдрва грамата* 126; *губная б изба сломат* 51; *чтоб на нево купчая взят* 11;<sup>14</sup> 6. у имен других основ также отмечено колебание в употреблении падежных окончаний. Слово *здорове—здравие* в пр. падеже имеет дублетные формы *о здорове—о здравиц; склали на поли* 121 наряду с примером *на поле и на гумне крадутъ* 10; при обычной форме на *-е* в пр. п. встречается и в *серцы*; сущ. *день* склоняется то по *-ю* основам, то по *-о* основам: *после У (с)пенева дни* 102; *дождався об Николине дни* 111; *к Семеню дни* 42; *ни единого дни* 66; *ннешнего дня с тобою не вижус* 21; в датах обычно употреблена последняя форма. В род. -пр. п. существительных *-о, -јѣ* основы чередуются флексии *-е* и *-у*; формой на *-у* в род. п. выражается различное значение: *до отказу* 10; *против твоего даговору* 11; *сроку дават* 34; *лесу повозит* 54; *проходу нет* 58; *от великог ветру* 71; *от того пожару* 90; *часть винограду астраханског да кадочку медку* 90; В пр. п. окончание *-у* получают только имена нарицательные и названия населенных пунктов: *в Бежецком Верху* 21; *в домишку* 33; *в обыску* 46; *на берегу* 74; примеров подобного рода очень много.

Обращают на себя внимание падежные формы в ед. ч. существительного *КНЯЗЬ* тем, что в некоторых случаях, в роли определения слово остается неизменным: *чтоб мне здесе шурина ево княз Михаила Ивановича Взямскова ссудить* 14; *принесли тое роспис князь Василю Василевичю Голицыну* 20; *столника кнз Юрья Михаилевича крестьянин Филка бежел* 30; *я о том говорил многигиды боярину кнз юрья Петровичю* 30; *боярина кнез Якова Никитича* 140, и др. Это явление напоминает похожую конструкцию некоторых словацких диалектов с существительным *ráp*, которое во всех косвенных падежах приобретает вид *rápa*; сюда же можно причислить и слова *báci* и *báfa*.<sup>15</sup> „В Материалах” И. И. Срезневского нет ни одного аналогичного примера,<sup>16</sup> что может говорить о сравнительно позднем появлении данной формы.

Во мн. ч. имен сущ. меньше пестроты в склонении. Отмечены лишь единичные случаи употребления старых окончаний в первую очередь Им., Род. и Вин. падежей. В им. п. у имен *-о, -ја* основы встречаются формы: *мы холопе твои* 121 наряду с *холопи*; *иная селы скозали* 31 при форме на *многоя неисчетныя лета* 114; *они шура мои* 135 (крайне редки формы на *-а* у сущ. м. р.); *братяродныя женишке мои* 135; может быть, таким типом является сомнительный случай *тетерева: ни малог выходу наперед сего не было и нне знат нетъ такъ ж и тетерева и рябцы знатно в самых глухих лесахъ жителство имеют* 94.

<sup>13</sup> Н. А. Расторгуев: *Говоры на территории Смоленщины*. М., 1960, стр. 104.

<sup>14</sup> Более подробно об этом см. И. Б. Кузьмина—Е. В. Немченко: *К вопросу о конструкциях с формой именительного падежа имени при переходных глаголах и при предикативных наречиях в русских говорах*. Сб. Вопросы диалектологии восточнославянских языков. М., 1964, стр. 151—176.

<sup>15</sup> О словацких соответствиях см. P. Ondrus: *Stredoslovenské nárečia v Maďarskej ľudovej republiky*. Bratislava, 1956, стр. 86.

<sup>16</sup> И. И. Срезневский: *Материалы для словаря древнерусского языка*. т. I, ст. 1401.

В род. п. имеем „неправильные” формы: *из диких поль нигде не дано* 134; *от тех их побои* 58; *грех ради наших* 60; *пят рублевь денег* — очень часто; *тритцат восемь сажень* 44; *послали лесъ двести сорок деревь* 54; *а кресты. . . стали тритцат пят алтын* 47; *мало десяти пуд* 127; смешение флексий род. и пр. падежей представлено случаями *ты писал о покупке лошадей*<sup>17</sup> 65; *при прежних помещиков* 42; *об моем деле о крестьян* 76; *приехав ис гостех пьян* 140; такое же колебание обнаружено и в ед. ч., где в значении предложного падежа стоит окончание вин. п.: *об лошадку добрую и о пицал як ти* (так!) *сам прирекъ слово* 77.

В конце XVI в. процесс выравнивания форм дат. -род. -мест. падежей лишь намечается, случаев отражения воздействия -а основ на остальные типы склонения очень мало; а в XVII столетии уже вряд ли не господствуют формы на -ам, -ами, -ах. С полной уверенностью можно это утверждать главным образом в связи с твор. падежом. В дат. и местном падежах в известной мере мешают правильно судить результаты фонетических изменений (аканье, яканье, и др.), которые находят себе выражение в фонетическом типе правописания малограмотных, простых людей. Любопытны написания *чаши величают* 58; *никоими дела* 52; *сущ. люди, дети* в твор. п. мн. ч. встречаются исключительно в виде *людми, детми*. У некоторых существительных наблюдаются двойные формы в рассматриваемых падежах: *а кто имяны* 20—*имянами нши* 64; в одном и том же письме имеется *на озерах и во всех озерах* 118; *в радостех и радостях, детям моим и детем*, и т. д.

Что касается категории одушевленности, она еще не обладает той стройностью, которая свойственна языку позднейшего периода. В значительном числе обнаружены случаи колебания в употреблении окончаний существительных, обозначающих одушевленные предметы. В ед. ч. мало примеров для совпадения вин. п. с им. падежом: *с нимъ послал конь бурь* 112; *взяли. . . у людишак моихъ четыре лошади виноходець чюбар кон воронь кон гнедь конь сер* 129. Во мн. ч. гораздо больше случаев совпадения указанных падежей: *целом бью за присланную рыбу и за птицы* 90; *послал я к тебе два выжлеца а на борзые не покручинис* 101; *а про лебеди писал* 98; *за те рыбы плочено три рубли три алтыны две денги* 97, и др. Им. сущ. со значением лица в вин. п. мн. ч. имеют форму, совпадающую с формой род. п. Исключения составляют немногие слова: *ншим крестьяном за дети у них дочери имат* 119; и в определенных конструкциях: *пожаловал великии гсдрь. . . в бояря князя Петра Семеновича Прозоровского в думные дворяня Леонтья Романовича Неплюева* 113; *имя твое написано на пример в черкасские города в воеводы* 117; *члвкъ дворовой выпущенево крестьяня* 70; *яз был поставлен х той цркви в попы* 103. В той же функции стои сочетание в *провожатых гсдрь послал Климку Акулова* 121.

Имена прилагательные в им. п. ед. ч. м. р. имеют ударяемое и безударное окончание -и, -еи, -ьи, -ои: *многомилостивьи* 9 и *млствои* — очень часто; *меншои* 11; *вечнои* 12 и *вешнои* 26; *млсрдаи* 13; *великии гсдрь* 12 и *великою постъ* 31; *околничей князь* 88 и *в нынешней ден* 35; в им.-вин. п. ср. р. вместо мягкой основы обнаруживаем *многолетное здорове* 54, *въ нынешнее время* 52. Флексия -ово род. п. м. и ср. р. в местоименном склонении известно было многим говорам: *для убогова моево к себе прошения* 27; *ково-никово-для чево* 51;

<sup>17</sup> Это явление свойственно воронежским говорам; см. В. А. Скогорев—В. И. Собинникова: Памятники письменности XVII—XVIII вв. в Воронежском областном архиве. Сб. Исследования источников по истории русского языка и письменности. М., 1966, стр. 249.

таких примеров в документах очень много.<sup>18</sup> Форма род. п. ж. р. представлена в виде на *-ои, -ое, -ья, -ие*: *вскормленники твоеи блгия пространнья трапезы* 63, 66; *суди меня аржанои муки* 53; *насытятся от вашея блгданные трапезы* 114. Вин. п. ж. р. у прилагательных может выступать в двойном виде: *землю лутчюю* 10 и *приедет в съезжаю избу* 34.<sup>19</sup> Вместо окончания *-ым* твор. ед. и дат. мн. ч. встречаем *-ом*: *с поваренным малам* 44 и *будет они не похотят добром зделатца* 40. В им. п. мн. ч. в некоторых случаях имеем исконные флексии *-и*: *чтоб лошеди были сыти* 125; *слышати по всякъ час жадни* 73. В предикативной роли качественные им. прил. стоят обычно в нечленной форме: *он сердит на меня* 13, и др.; в функции определения весьма редко обнаружены они в нечленной форме: *послал конь буръ* 112; в перечислении *кон воронъ, кон гнедъ, конь сер* 129; в описании беглого крестьянина можно читать: *ростомъ невеликъ кренастъ волосом голова из темна руса в лице островат глаза серы* 36. Гораздо чаще употреблены краткие формы относительных и притяжательных имен прил.: *холопя суда* 11; *гсдрву указу учинилис силны* 23; *о Микулинове деле* 40; *про братны здоровья, владчню волю* 45; *на отцове месте* 103, и др. В им. п. мн. ч. бросаются в глаза образования на *-ы*: *Григоревы крстьяне, Кузмины дети* 133; *служки и жены и конюховы и поваровы* 138; *грамоты гсдревы* 100. Им. прил. наблюдаем как в препозитивном, так и в постпозитивном положении к определяемому слову.

Личные и возвратное местоимения имеются в обычных с точки зрения современного языка формах; случаи употребления форм с гласным *-о* (*тобе, собе*) крайне редки. В вин. и дат. п. местоимения 2-го л. иногда встречаются энклитические формы *тя, ти*.

Неличные местоимения в материалах: *он, она, оно, они-оне; тотъ, та, то, те; сеи, ся-сия, се, сии; кои; которой; никоторои; какои, никакои, некакои; всякъ-всякою; вес; сам; таковой; инъ; кто-хто; никто; что*. В вин. п. ед. ч. ж. р. у местоимений известны параллельные формы *ту и тое, сю и сее: в ту пору и въ тое пору* 56; *сее грамотку мою* 60; *на порожжею примерную лишнего землю* 133. После предлога в начале слова иногда отсутствует согласный *-н*: *после ево* 136; *промеж ими* 29; *для их* 33, и др. Многочисленны случаи употребления сочетания типа *онъ попь, они крстьяне*.

Среди наречий обращают на себя внимание *инолды, вселды*<sup>20</sup>; *летось, вчорась*.<sup>21</sup> На неразрывную связь наречий с местоимениями указывают сочетания *по ка места — по та места, по се местъ, кои час — тот час*.

Многим говорам известны предложные сочетания *къ Москве, с Москвы, на Москве*. Предлог *для* имеет и причинное значение: *для злои дороги роздумали* 77; обнаруживаются и конструкции с двумя предлогами, для выражения цели действия: *прислат в Боровескъ для роди луку и чесноку* 54; предлогом *против* выражено значение „согласно”. Интересен пример *мимо Белев ехал* 48;

<sup>18</sup> Богатая литература по вопросу представлена в статье А. И. Толкачева: Об изменении *-ого ово* в родительном падеже единственного числа мужского женского и среднего рода членных прилагательных и местоимений русского языка. Сб. Материалы и исследования... стр. 235—268.

<sup>19</sup> О характере окончания см. Т. С. Оловеникова: Рукописные материалы XVII—XIX веков в Орловском областном архиве. Сб. Исследования источников... стр. 240.

<sup>20</sup> Наречие приведено и И. И. Срезневским: Материалы... т. I. стр. 1104.

<sup>21</sup> Об употреблении наречий типа *летось* см. И. А. Попов: Сложные наречия в говорах русского языка. Сб. лексика русских народных говоров. М.—Л., 1966. стр. 82.

сочетание можно объяснить сохранением исконного значения наречия *мимо*, которое позже других предлогов превратилось в предлог.<sup>22</sup>

Пересмотр данных документов дает основание утверждать, что на протяжении XVII века происходят изменения, отличающие русский язык от языка прежних эпох, и, хотя в языке данного периода содержатся многие элементы, рожденные предыдущими веками, об образовании национального русского языка несмыслимо говорить раньше второй половины XVI—начала XVII века.

<sup>22</sup> См. Дина Сергеевна Станишева: Винительный падеж в восточнославянских языках. София, 1966, стр. 90; З. Д. Попова: Рукописи XVII—XVIII веков в Курском областном архиве. Сб. Исследования источников... стр. 229.

## КАТЕГОРИЯ ОТЧУЖДАЕМОСТИ И НЕОТЧУЖДАЕМОСТИ В ГРАММАТИЧЕСКОМ СТРОЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

И. Пете

Вопрос о существовании грамматической категории отчуждаемости и неотчуждаемости в русском языке в теоретическом плане впервые ставился профессором А. В. Исаченко. По его мнению эта категория в русском языке проявляется „в оформлении предикативных притяжательных конструкций, притяжательных предложений”<sup>1</sup>.

1. На основании работы А. В. Исаченко в случаях выражения притяжательности можно говорить о юридической и органической принадлежности.

При выражении *юридической принадлежности* „предметом обладания” является вещь отчуждаемая, благоприобретенная. В этом случае при выражении притяжательности употребляем связку *есть*. Напр.: *У него есть деньги, У меня есть велосипед.*

А. В. Исаченко указывает и на то, что употребление связки *есть* означает отделение данного предмета от его обладателя. Так, например, в предложении *У него есть новый галстук* „выражен просто факт, что данный предмет имеется, но в настоящее время висит, например, в шкафу”. Предложение же без связки *есть* (*У него новый галстук*) обозначает, что „этот галстук в данный момент находится на нем, что он является как бы частью его внешности”.

К этому можно добавить, что при выражении юридической принадлежности употребление связки *есть* не обязательно означает отделение данного предмета от его обладателя. Логическое ударение также играет большую роль в употреблении связки *есть*. Связка *есть* не употребляется в том случае, если наличие предмета само собой разумеется. Употребление же связки *есть* подчеркивает наличие данного предмета у обладателя, независимо от того, что данный предмет отделяется ли от него или нет. Ср., например: *В городе есть метро — Какое метро в городе? В городе новое метро — В городе есть и новое метро, У тебя есть книга? — У кого книга?*

А. В. Исаченко пишет и о том, что от притяжательных конструкций „необходимо отграничить конструкции типа *У меня завтра лекция, У него экзамен*, где речь идет не о притяжательных отношениях в узком смысле этого термина, т. к. лекция не может быть „предметом обладания”<sup>2</sup>. Однако в вопросительном предложении, когда *наличие* предмета в большой степени вызывает сомнения, можно употреблять связку *есть*. Ср., напр.: *Есть у вас лекция теперь? — Теперь у вас лекция?* (В первом предложении подчеркивается сомнение

<sup>1</sup> А. В. Исаченко, Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким, Братислава, 1954, стр. 141—145.

<sup>2</sup> Там же, стр. 145.

в наличии лекции и сомнение спрашивающего во времени лекции. Во втором же предложении важное для вопроса слово выделяется порядком слов — актуальным членением предложения и поэтому связка не употребляется.

Однако если мы спрашиваем о *качестве* предмета, тогда связка не употребляется. Напр.: *Какая лекция у вас теперь?* Если же мы одновременно спрашиваем о *наличии* и о *качестве* предмета, тогда употребляем связку *есть*. Напр.: *У кого есть свежая газета?*

От притяжательных конструкций надо отграничить предложения, в которых выражается обстоятельство места. Такие конструкции отличаются от притяжательных предложений часто порядком слов (Притяжательные конструкции вообще имеют порядок слов: обладатель—обладаемый предмет) и еще тем, что при выражении обстоятельства места связка *есть*, как правило, не употребляется. Ср. напр.: *У кого есть свежая газета?* — *У кого свежая газета?* Второе предложение может обозначать вопрос о месте нахождения предмета. Тогда ответ будет: *Свежая газета у меня*. В таких предложениях связка не употребляется. То же самое: *Где свежая газета?*

При выражении *органической принадлежности* по выражению А. В. Исаченко „человек обладает предметами не только *de jure*, но и *de facto*. Такими неотчуждаемыми предметами обладания по А. В. Исаченко являются части тела, психические качества, душевные состояния или переживания, болезнь или физический недостаток. В таких случаях притяжательные предложения оформляются по его мнению без связки *есть*. Напр.: *У него светлая кожа, У него прекрасная память, У него горе, У него грипп*.

А. В. Исаченко важным характерным признаком категории отчуждаемости и неотчуждаемости считает и способ оформления отрицательной формы таких предложений. Для категории отчуждаемости характерны отрицательные предложения с частицей *нет*, для категории неотчуждаемости — отрицательные предложения с частицей *не*. Ср., например: *У него есть деньги* — *У него нет денег, У него светлые волосы* — *У него не светлые волосы*.

Языковые факты говорят о том, что возможности употребления частиц *нет* и *не* не являются достоверным критерием отграничения категории отчуждаемости и неотчуждаемости. Ведь с названиями частей тела тоже можно употреблять частицу *нет*. Напр.: *У него нет волос, У него нет правой ноги/левой руки, У него нет сердца* (в переносном значении), *Что у тебя глаз нет, не видишь?* То же самое можно наблюдать и у других предметов обладания, являющиеся по А. В. Исаченко неотчуждаемыми. Напр.: *У него нет характера, У него нет памяти, У нее нет веснушек, У него нет темперамента, У него нет таланта к рисованию, У него нет голоса/нет слуха, У него нет жары/нет гриппа. У него нет горя, его жизнь спокойная. У него нет радости* и др.

К этому можно еще прибавить и то, что с некоторыми „неотчуждаемыми” предметами обладания можно употреблять и связку *есть*. Напр.: *У вашего ребенка уже есть волосы? У тебя есть жар? У него есть сердце, У него есть темперамент, У него есть слух, У него есть горе: что-то случилось, У него есть большой талант: хорошо поет*.

На основании этих возражений нам кажется, что выдвинутые А. В. Исаченко критерии разграничения категории отчуждаемости и неотчуждаемости в притяжательных предложениях не вполне удовлетворительные, и даже вызывают сомнения относительно существования такой грамматической категории.

Для разграничения категории отчуждаемости и неотчуждаемости в притяжательных конструкциях мы предлагаем такой критерий: категорию отчужда-



емости и неотчуждаемости можно ограничить друг от друга на основе возможности употребления связки *есть* и отрицательной частицы *нет* при одновременном утверждении или отрицании наличия и качества обладаемого предмета. При этом сильным членом оппозиции является категория неотчуждаемости, при выражении которой нельзя логически одновременно выделить и предмет и его качества и поэтому в таких предложениях связка *есть* и отрицательная частица *нет* не употребляются. Напр.: *У него длинные руки — У него не длинные руки.*

При выражении же категории отчуждаемости одновременно можно утверждать или отрицать и наличие самого предмета и наличие какого-то качества этого же предмета. Напр.: *У меня есть новый галстук — У меня нет нового галстука.* Если же у отчуждаемого предмета мы утверждаем или отрицаем только его качество, тогда притяжательная конструкция похожа на конструкцию, в которой имеется неотчуждаемый предмет, то есть наличие предмета не нуждается в логическом выделении. Напр.: *У меня новый галстук — У меня не новый галстук.*

Можно спорить о том, что психические качества, душевные состояния и переживания, болезни и физические недостатки являются ли „неотчуждаемыми” предметами, как это предполагает проф. А. В. Исаченко. Логический и языковой анализ не полностью подтверждает это предположение. Ведь отдельные болезни, физические недостатки, разные виды психических качеств и душевных состояний не обязательно, то-есть не органически связаны с человеком. Поэтому такие „предметы” подобно отчуждаемым предметам при отрицании и с определением могут употребляться с частицами *не* и *нет*. Напр.: *У него не сильный характер — У него нет сильного характера, У него не хорошая память — У него нет хорошей памяти, У него не сильный голос — У него нет сильного голоса, У него не сильный насморк — У него нет сильного насморка, У него не большого горя и др.*

Несмотря на это, эти предметы все же нельзя считать полностью „отчуждаемыми”. Во-первых потому, что в утвердительном предложении они употребляются с определением без связки (*У него сильный характер* и др.), во-вторых, в отрицательной форме между двумя вариантами разница только в том, что частица *нет* в большей степени подчеркивает отрицание. Ср., например: *У него не сильный насморк — У него нет сильного насморка.*

Категория отчуждаемости и неотчуждаемости по А. В. Исаченко проявляется только в притяжательных конструкциях. В дальнейшем мы хотим показать, что эта категория, которая в первую очередь является логической, может иметь свои формальные грамматические признаки и в других случаях в грамматическом строе русского языка.

2. В академической „Грамматике русского языка” особо выделяются словосочетания, в которых „глагол (как правило — непереходный) называет движение, а имя существительное — часть тела или органически связанный с производителем действия предмет, которым производится движение, напр.: *махать руками, скрежетать зубами, стучать кулаками, топтать ногами, шевелить губами, качать ветвями*”.<sup>3</sup> Однако эти словосочетания не однородны по своим качествам.<sup>4</sup> Среди них имеются такие, в которых ярко выражается

<sup>3</sup> Грамматика русского языка, „Академия наук СССР”, т. 2, ч. I, Москва, 1953, стр. 133.

<sup>4</sup> См. в связи с этим мою статью „Глагольные словосочетания с названиями частей тела в русском языке.”

и формально органическая или неорганическая связь предмета с производителем действия. С нашей точки зрения в таких случаях также можно говорить о формальном различении категории отчуждаемости и неотчуждаемости.

Проявление категории отчуждаемости и неотчуждаемости состоит в том, что одна группа глаголов в таких словосочетаниях управляет *творительным падежом* существительных, органически связанных с производителем действия. Существительные же, которые органически не связаны с производителем действия, с этими же глаголами стоят в *винительном падеже*. Ср.: *по/качать головой/ногой, дерево качает ветвями — по/качать колыбель (люльку) ребенка на качелях, мотать-мотнуть головой (хвостом) подбородком — мотать шелк/нитки, трясти-тряхнуть головой (хвостом) ногой (кулаками) гривой — трясти-тряхнуть дерево, встряхивать-встряхнуть головой/волосами — встряхивать (встряхнуть) ковер/градусник, по/шевелить—шевелнуть губами/плечом/ушами/ мозгами — по/шевелить-шевелнуть сено/угли в печке, поводить-повести плечами/усами/ушами/глазами/бровью — (по)водить-повести ребенка к врачу, подергивать-подергать плечами/ногами — подергивать-подергать звонок, передергивать-передернуть плечами (спиной) /ушами — передергивать-передернуть сани через бугор, пожимать-пожать плечами — пожимать-пожать руку кому-н., двигать-двинуть ушами (пальцами/плечами/руками) бровями — двигать-двинуть стулья/мебель, болтать руками/ногами — болтать чай ложкой, вращать глазами (белками зрачками) — вращать колесо/мельничный жорнов, вертеть хвостом — вертеть колесо, крутить кран/ручку патефона, разводить-развести руками (боками) плавниками — разводить-развести гармонь/гостей, перебирать-перебрать ногами (руками) лапами — перебирать-перебрать картофель и др.*

Характерной особенностью этих глаголов кроме падежного управления является и то, что возможности их сочетаемости с приставками крайне ограничены, если они обозначают движение неотчуждаемого предмета. Их свойства управлять творительным падежом сохраняется. Напр.: *подергивать-подергать плечами — передергивать-передернуть плечами*. (*Вздернуть нос* обозначает не движение неотчуждаемого предмета). Те же самые глаголы, когда они употребляются с „отчуждаемыми” предметами имеют широкие возможности сочетаемости с приставками. Напр.: *раздергивать занавеску, сдернуть скатерть со стола, вдернуть нитку в иголку, выдернуть гвоздь, задергивать занавеску, издергивать шнур, надернуть на себя одеяло, обдергивать листья с куста, поддернуть чулок* и др.

3. Категория отчуждаемости и неотчуждаемости проявляется и при выражении обстоятельства образа действия. Если обстоятельство образа действия выражается такими предметами, которые органически связаны с производителем действия, то употребляется беспредложный творительный падеж. Напр.: *Он стоит ко мне спиной* (без спины нельзя стоять), *Он повернулся боком к стене, Он прыгнул в воду головой*.

Если же обстоятельство образа действия выражается отчуждаемыми предметами, то есть такими, которые можно отделить от действия и от его производителя, то надо употреблять предлог *с*. Напр.: *Он говорит с волнением* (можно говорить и без волнения), *Мы слушаем лекцию с интересом, Он пишет с ошибками, Мы с трудом прошли этот отрезок пути* и др.

В пособии „Беспредложное и предложное управление” указывается, что „в конструкциях без предлога *с* основное смысловое ударение обычно падает

на определение существительного”<sup>5</sup> Напр.: *Мать говорила тихим голосом, Работа шла быстрыми темпами, От боли он кричал не своим голосом, Учитель объяснил урок простыми словами, Сокол большими кругами парил в воздухе* и др. Как видно категория неотчуждаемости имеет в этом случае и такой признак, что органически связанные с производителем действия предметы употребляются с определением. Такие конструкции можно заменить наречиями. Напр.: *Он говорил тихим голосом — Он говорил тихо, Работа шла быстрыми темпами — Работа шла быстро* и др.

Беспредложный творительный падеж без определения употребляется для выражения обстоятельства образа действия, во-первых, тогда, когда „само по себе существительное уже включает в себя какое-либо определение и может быть заменено другим существительным с определением (*Певец пел басом*) — бас - низкий голос, *Певец пел низким голосом*” и, во-вторых, тогда, когда „мы хотим показать отличие данного способа действия от другого (*Повернись к свету лицом* (а не боком, не спиной), *идти шагом* (в отличие от бежать)). Он объяснил словами (в отличие от „он объяснил руками”) и др.”<sup>6</sup>

В следующих предложениях органически связанные с производителем действия предметы употребляются с предлогом *с*: *Он встал со свежей головой, Он погрузился в воду с головой, Я конечно готов с руками и с ногами.* В первом предложении выражается состояние производителя действия. Во втором и третьем предложениях же неотчуждаемые предметы теряют свое основное значение и сочетание приобретает фразеологический характер. Ср. *прыгать в воду головой — погрузиться в воду с головой* (*с головой* имеет значение „целиком”).

4. При обозначении *терминативных* пространственных отношений мы тоже можем встретиться с признаками неотчуждаемости. Если неотчуждаемые предметы являются границей, пределом распространения действия, тогда чаще всего употребляется предлог *по* (хотя можно употреблять и предлог *до*). С отчуждаемыми же предметами в таком же значении употребляется предлог *до*. Ср., напр.: *Лиза проводила меня до дому* (Паустовский, Повесть о жизни), *Во время грозы облака будут спускаться до моей кровли* (Лермонтов, Княжна Мери) — *Руки были желтые по локоть* (Горький, На дне), *Как вы думаете, Александр Петрович, выживает?* — *спросила молодая женщина-врач у пожилого хирурга в надвинутом по самые брови белом колпаке* (Симонов, Дни и ночи), *Зуба — то нет, — случаем не кобыла выбила?* — *спросил один черный как грач по самые ноздри заросший кудрявой бородой* (Шолохов, Поднятая целина), *Она-то в тебя влюблена по уши* (Ажаев, Далеко от Москвы), *Он всегда занят по горло* (Симонов, Дни и ночи), *Голову в воду по самую шею. Раз-два* (Гончар, Знаменосцы), *А виницкий тракторист стоит по плечи в сухой земле* (Там же), *Бойцы по колено в воде* (Там же), *Конь был мокр по самую холку* (Шолохов, Поднятая целина), *Лошади их выбивались из сил по брюхо в снегах* (Федин, Необыкновенное лето), *Колеса по самую ступицу проваливались в... песок* (Шолохов, Судьба человека), „... *стоя по икры в воде*”... *говорил Саша* (Фадеев, Молодая гвардия), *Приближающееся ко мне был оголенный по пояс человек* (Л. Н. Толстой, После бала), *Стоять на одной ноге по колено в снегу* (Л. Н. Толстой, Воскресение).

<sup>5</sup> Е. Г. Баш, Н. К. Венедиктова и др., Беспредложное и предложное управление, Издательство Московского университета, 1959, стр. 213.

<sup>6</sup> Там же, стр. 214.

Как показывают примеры, действие вообще производит тот же самый предмет, к которому относится и неотчуждаемый предмет, являющийся пределом распространения действия. Однако редко, вообще у неодушевленных предметов, встречается и такое употребление предлога *по*, когда действие и „неотчуждаемый” предмет в терминативном значении органически не связаны. Напр.: „... *нагрузили мою машину снарядами по самую завязку*” (Шолохов, Судьба человека), *Нагрузили корзину по самую ручку*.

Предлог *до* употребляется редко в терминативном значении с такими предметами, которые являются органической частью других предметов. Напр.: *Нагрузили корзину до самой ручки, Перед кадкой стоял голый до пояса мокрый турок* (Л. Раковский, Адмирал Ушаков), *Этим утром в литейном цехе он видел обнаженного до пояса старика рабочего* (Паустовский, Судьба Шарля Лонсевия). В следующем предложении под влиянием глагольной приставки употребляется предлог *до*: *Иногда вода доходила нам до горла* (Тургенев, Льгов), но: *Вода была вам по горло*.

При выражении двойных обстоятельственных отношений употребляется предлог *до*. Напр.: *Правая рука джигита висела на перевязи и от кисти до локтя была забинтована* (Авдеев, Далеко-далеко). В предложениях следующего типа также можно употреблять только предлог *до*: „... *вместо рубахи я носил белую куртку повара; это очень практичная вещь: она ловко играет роль пиджака и, застегиваясь на крючки до горла, не требует рубашки* (Горький, О первой любви). (*Горло* только метонимически связано с *рубашкой*);

Как видно, неотчуждаемость проявляется в терминативном употреблении предлога *по*.

5. С проявлением категории отчуждаемости и неотчуждаемости мы можем встречаться и при выражении интрапозиционных пространственных отношений.

Е. Хераскова в связи с употреблением предлогов „в” и „на” пишет, между прочим, следующее: „Всегда, когда мы говорим об определенном акте, зрелище, мероприятии, протекающем во времени, употребляем предлог *на*: ... *на матче, на шахматном турнире*. ...”<sup>7</sup> Однако имеются такие примеры, когда вышеуказанная Е. Херасковой категория слов употребляется с предлогом „в”. Напр.: „... *он* (Ботвинник) *сражался за каждые пол-очка в этом матче*” („Огонек”, 1961 21, стр. 27), „... *важнейшая задача, стоящая перед экс-чемпионом мира, заключилась в том, чтобы излечиться от цейтнотной болезни, от которой он так сильно пострадал в прошлом матче* („Огонек”, 1961 21, стр. 26). *Сражаться в международном турнире* (Неделя, 1966 52, стр. 9), *Хотя и на сегодняшний день их грозная сила проверена во многих состязаниях внутри страны и за рубежом* (Неделя, 1966 52,9), *Все участники фестиваля почти в каждом концерте выступали трижды* (Неделя, 1966 52, 20), „... *в состязаниях небольших он неизменно одерживает победу*” (Неделя, 1967 3, стр. 23), *Сыграть в заключительном матче вничью, Переиграть в первом туре сборную ГДР, В чемпионате мира выступают спортсмены 25 стран*.

Чем объясняется в таких примерах употребление предлога *в*? С такими существительными предлог *в* употребляется при выражении категории неотчуждаемости, т. е. тогда, когда данное мероприятие неотделимо, часто даже немислимо без действия, выраженного глаголом и оба они „органически связаны” с третьим „предметом”, который, как правило, является субъектом

<sup>7</sup> Е. Хераскова, Изучение употребления предлогов *в* и *на* при обозначении места и направления действия, „Русский язык в национальной школе”, 1962/2, стр. 35.

действия. Напр.: *Наша команда отлично играла в этом матче* (без игры команды не может быть матча).

Предлог *на* употребляется в том случае, если действие и его производитель „органически не связаны” с данным мероприятием. Напр.: *Он пошел на футбольный матч, Он присутствовал на этом матче.*

6. С следами категории неотчуждаемости можно встретиться и при выражении превосходной степени, если выражается наивысшая степень качества того же предмета. Неотчуждаемость проявляется в употреблении конструкции сравнительная степень прилагательного + *всего* в противопоставлении конструкции сравнительная степень прилагательного + *всех*, которая употребляется при выражении наивысшей степени качества одного предмета по сравнению с качествами других предметов. Ср.: *Эта река здесь шире всего — Эта река шире всех рек мира.* Конструкцию *самый* + положительная степень прилагательного в обоих случаях можно употреблять. Ср.: *Эта река здесь самая широкая — Эта река самая широкая среди рек мира.*

12. О категории отчуждаемости и неотчуждаемости можно говорить и при употреблении предлога *за* для обозначения одновременности двух действий в таких примерах, как, например, *За обедом мы разговаривали.* Конструкцию *за* + твор. падеж существительного можно употреблять только в том случае, если действие, выраженное отглагольным существительным и действие, выраженное глаголом, имеют общего производителя. В противоположном случае говорят, например, *Во время обеда шел дождь.*

## ПУТИ РАЗВИТИЯ СТИХОТВОРНОГО ЭПОСА В СОВЕТСКОЙ ПОЭЗИИ 20-ЫХ ГОДОВ

А. Карпов

В советской поэзии первых пореволюционных лет эпос занимал подчиненное положение по отношению к лирике. Мнение это прочно утвердилось в истории советской литературы. „В первые годы для художественного освоения революции характерно было субъективное ее осмысление, эмоциональное ее восприятие. В литературе доминировало стремление выявить прежде всего отношение писателя к революции, а это вело к развитию лирических жанров”<sup>1</sup> — пишет Л. Тимофеев.

Вместе с тем уже в годы революции и гражданской войны появляются произведения, где не только отразилось эмоциональное восприятие революционной эпохи, но и предприняты попытки уловить и воспроизвести основные силовые линии ее. Не следует забывать, что у истоков советской поэзии стоит гениальная поэма А. Блока „Двенадцать”, что именно поэмами откликнулся на революцию С. Есенин, что уже в 1919—1920 годах Маяковский создает поэму (в черновиках стоит — „эпос”, „былина”) „150 000 000”. Ряд этот можно было бы без труда продолжить, включив сюда поэмы В. Александровского, Д. Бедного, А. Белого, М. Герасимова, В. Хлебникова и др. Процесс развития эпических форм идет и в прозе, появляются романы П. Бессалько, А. Бибика, В. Зазубрина и др.

Поэмы, написанные в эти годы, по большей части, — лирические. Выражение в них явно превалирует над изображением. Это служит лишним подтверждением того, что лирика решительно выходит в поэзии на первый план.

Но даже и в это время советская поэзия не сводится к лирике. Идет напряженный поиск путей к широкому, эпическому изображению революционной действительности. Идет поиск форм, способных воплотить в себе, донести до читателя масштабность свершающегося.

По мере развития советской поэзии становится все очевиднее, что лирика, справляясь с задачей выражения пафоса времени, существенных черт его, оказывается не в состоянии дать широкого изображения революционной действительности. А именно эту задачу — задачу создания движущейся панорамы жизни, эпически протяженных образов, разнохарактерных героев — двигает время перед советской поэзией.

С присущей эпохе категоричностью завязывается спор о приоритете одного литературного рода над другим: категоричность эту порождало жела-

<sup>1</sup> Л. Тимофеев. Советская литература. Метод, стиль, поэтика. Москва, изд. „Советский писатель”, 1964, стр. 110.

ние найти формы, единственно достойные величия свершающегося, достойные героического времени.

Уже в начале 20-ых годов начинают утверждать созвучие эпических форм эпохе. Об этом говорилось, например, в программной статье, открывавшей первый номер журнала „На посту” (1923): „Подход эпический. . . единственно может помочь нам создать монументальные произведения, адекватные эпохе”<sup>2</sup>. Мысль эта будет многократно повторена в напостовской критике. Сошлемся, например, на Г. Лелевича, видевшего первую задачу пролетарских поэтов в создании развернутого сюжетного эпоса. „Дать действительно достойное художественное конкретное воплощение нашей эпохи, — писал он в 1925 г., — можно только при помощи развернутого сюжетного эпоса”<sup>3</sup>.

Фронт приверженцев эпических форм в поэзии был весьма широк и определялся отнюдь не групповыми пристрастиями. И. Сельвинский, чьи литературные позиции были весьма далеки от напостовства, оказывается близок напостовским теоретикам, как только речь заходит о месте эпоса в современном искусстве. По Сельвинскому выдвигаемый эпохой „органический стиль” требует прежде всего больших жанров: эпопеи, романа, трагедии, хроники.

По мнению Сельвинского, социально-экономические сдвиги находят непосредственное отражение в области художественных форм. Уже не просто требованиями революционной эпохи — требованиями времени введения нэпа стремится объяснить он обращение поэтов к большим художественным полотнам.

Журнал „Молодая гвардия” в конце 1928 года провел на своих страницах дискуссию на тему „Есть ли кризис в современной поэзии?” В дискуссии этой принял участие и Сельвинский. Расцвет поэзии он решительно связывает с освоением и развитием эпических форм: „Уже с самого начала новой экономической политики чувствовалась настоятельная потребность в художественном осмыслении и закреплении тех грандиознейших обвалов и нагромождений, которые творила революция. Пройти мимо них, не попытаться откликнуться голосом современника — значит не быть поэтом. Запомнить контуры этих нагромождений и набросать их профиль в стихе — значит создавать эпическую поэзию”<sup>4</sup>.

Сетования на малую действенность лирической поэзии все чаще встречаются в критике, тяга к эпосу становится все ощутимее. По справедливому замечанию поэта и критика М. Зенкевича, „революция снова пробудила тоску по большому эпическому полотну. Грандиозные события не укладывались в небольшие лирические формы, да и сама лирика стала малодейственна, для нее потребовалась непосильная ей общественная нагрузка. Отсюда неоднократные попытки возродить старую эпическую поэму хотя бы в форме стихотворного публицистического фельетона”<sup>5</sup>. Зенкевич явно неправ, отказывая лирике в общественной нагрузке: высокая идейность была всегда присуща русской поэзии в лучших ее образцах. Но критик безусловно прав, связывая с событиями революционной действительности все более устойчивое обращение поэтов к эпическим формам. Не лишне напомнить, что и для Горького именно эпическое оказывалось главным содержанием эпохи. „Мы живем

<sup>2</sup> „На посту”, 1923, № 1, стр. 9.

<sup>3</sup> Г. Лелевич. Поэзия комсомола и сюжет. — „Комсомолия”, 1925, № 7, стр. 60.

<sup>4</sup> „Молодая гвардия”, 1928, № 12, стр. 196.

<sup>5</sup> М. Зенкевич. Обзор стихов. — „Новый мир”, 1930, № 2, стр. 227.

в стране и атмосфере, для которых характерна именно эпика, а не лирика”<sup>6</sup> — писал он в письме Н. Н. Накорякову в мае 1936 года.

Впрочем возможности эпической поэзии далеко не всеми оцениваются восторженно. Прежде всего вставал вопрос: сможет ли художник, создавая широкое эпическое полотно, угнаться за быстро текущим временем? Отрицательно отвечали на этот вопрос лефовцы. Они не отказывали эпосу в праве на существование — они вкладывали в это понятие иной смысл, нежели Сельвинский, Зенкевич и др. В конечном счете, это был спор не о том, быть или не быть эпосу (нелепо было бы спорить об этом после появления поэм Блока, Маяковского, Есенина), а о путях развития его. „Наш эпос — газета”, — задорно провозглашал от имени лефовцев С. Третьяков. На страницах журнала „Новый леф” он выступал с сокрушительными филиппиками в адрес тех, кто возрождает изжившие себя, по его мнению, большие литературные формы: „Монументальные формы типичны для феодализма и в наше время являются лишь эпигонской стилизацией, признаком неумения выражаться на языке сегодняшнего дня”<sup>7</sup>. Буквально то же самое утверждает и Н. Асеев. Участвуя в упоминавшейся выше дискуссии на страницах журнала „Молодая гвардия”, он говорит о кризисном состоянии, которое переживает советская поэзия, и объясняет этот кризис возвратом к старым, отжившим формам, в частности, „к длительным формам стихотворного повествования, каковы, например, роман или повесть в стихах”<sup>8</sup>.

Показательна уже сама по себе категоричность этих утверждений: или-или. Страстность и даже запальчивость тона можно понять: речь идет о вопросах жизненно важных для поэзии. Но при утверждении приоритета одних форм над другими аргументация, выражения у оппонентов почти совпадают. Если монументальные эпические формы можно занести в разряд пережитков феодальных времен, то как избежать соблазна прямо связать лирику с индивидуализмом. И рассуждая о свойствах поэзии, писал И. Гринберг: „Квинтэссенцией буржуазного индивидуализма и самосозерцания явилась, собственно, лирика — жанр лирической поэзии”<sup>9</sup>. Впрочем, слова эти могли появиться, наверное, лишь в ту пору, когда уже, по словам А. Селивановского, „лирическое оружие если и не бездействовало вообще, то употреблялось в ход мало и случайно”<sup>10</sup>.

Развитие поэзии в 20-ые годы не оправдывало тех прогнозов и суждений, которые звучали в полемике о путях развития советской поэзии. Эпические формы, с одной стороны, служили задаче изображения сегодняшнего дня, нового, советского человека, а с другой — эпика не зачеркивала собою лирики. По мере развития своего эпическая поэзия становится богаче, многообразнее. Масштабность и глубина изображения — соединение их является обязательным свойством стихотворного эпоса — достигаются тогда, когда судьба человеческая оказывается включенной в ход истории. Попытки соединить лирическую проникновенность с эпической широтой в середине двадцатых годов встречаются в советской поэзии все чаще.

Эпическое все шире проникает в лирику; это сказывается особенно заметно в развитии лирической поэмы, которая все отчетливее тяготеет к эпической масштабности.

<sup>6</sup> М. Горький. Собр. соч. в 30 т., т. 30, Москва, ГИХЛ, 1955, Стр. 442.

<sup>7</sup> „Новый леф”, 1927, № 1.

<sup>8</sup> „Молодая гвардия”, 1928, № 12, стр. 192.

<sup>9</sup> И. Гринберг. Реконструкция лирики. — „Литературная учеба”, 1934, № 5, стр. 45.

<sup>10</sup> А. Селивановский. О сегодняшнем дне советской поэзии. — в кн: Поэтический сборник. Москва, изд. „Советская литература”, 1934, стр. 165.



В поэме „Лирическое отступление” (1924) Н. Асеева чувство, связывающее двоих, поверяется всем миром. «Мое „Лирическое отступление”, — писал поэт, — для меня было предельно искренним высказыванием о любовной драме человека тех времен, драме не только личного порядка».<sup>11</sup>

Поэма о любви становится поэмой о революции, о судьбе человека в революции. „Дневник поэта”, поэма становится документом эпохи. По определению Асеева, это „форт”, выдвинутый далеко вперед на „лирические позиции”.

В поэме Асеева лирическое — переживание, вызванное чувством глубоко интимным, — не суживает рамок повествования. Сердце, опаленное страстью, открывается здесь, и вместе с тем в „Лирическом отступлении” перед читателем открывается мир, омытый грозой революции.

История — исконный предмет эпической поэзии — входит в поэмы Асеева, раздвигая масштабы стихотворного повествования. Обращаясь к теме истории, поэт находит высокую — истинную — меру поступков человека, судьбы его.

Прямое сопоставление истории и судьбы рядового бойца революции лежит в основе поэмы Асеева „Семен Проскаков” (1927—1928). Обнаруженные поэтом подлинные записки сибирского партизана послужили материалом для создания широкой картины гражданской войны.

События, связанные с судьбой Проскакова, являются основными в сюжете поэмы, но она вовсе не представляет собою последовательного рассказа о герое. Это поэма о народе, поднимающемся на борьбу за свое счастье. Гражданская война здесь — не фон, а главная тема, и Семен Проскаков, не теряя своей резко выраженной характерности, предстает перед читателем прежде всего как один из участников народной борьбы. Многоплановое стихотворное повествование, где соединяются высокая патетика и нарочитая приземленность деталей, психологизм и плакатная одноплановость, скреплено воедино сквозной лирической темой.

„Я лирик по складу своей души, по самой строчечной сути”, — писал Асеев. Тяготение к эпическим формам поэта, обладающего лирическим дарованием, показательно для развития советской поэзии в 20-ые годы. Путь к эпосу из недр лиризма можно проследить обратившись также к поэзии Б. Пастернака.

Само понятие „эпос” настолько мало вязалось с уже сложившимися представлениями о поэзии Пастернака, что критика двадцатых годов порой отказывалась относить к эпосу его поэмы „1905 год” (1925—1926) и „Лейтенант Шмидт” (1926—1927). „Конечно, это не эпос (доказывать — значило бы ломиться в открытую дверь), — писал о поэме „1905 год” А. Лежнев, — это — лирика высокого напряжения”.<sup>12</sup>

Поэмы Пастернака, действительно, мало отвечали традиционным представлениям об эпосе. Однако, в новую эпоху интенсивно идет процесс обновления привычных форм и понятий. Относится это и к поэзии. Не лишне прислушаться к словам самого поэта, писавшего в 1926 г.: „Я работал и работаю над поэмой о 1905 годе. Вернее сказать, это не поэма, а просто хроника 1905 года в стихотворной форме”.<sup>13</sup> Годом позже он писал еще более определенно:

<sup>11</sup> Н. Асеев. Собр. соч. в 5 томах, т. 5, Москва, изд. „Художественная литература”, 1964, стр. 489.

<sup>12</sup> А. Лежнев. Борис Пастернак. — в кн.: А. Лежнев. Литературные будни, Москва, изд. „Федерация”, 1929.

<sup>13</sup> „На литературном посту”, 1926, № 1.

«Больше года я работаю над книгой „1905 год“, которая будет состоять из отдельных эпических отрывков. . . Я считаю, что эпос внушен временем, и поэтому в книге „1905 год“ я перехожу от лирического мышления к эпике, хотя это очень трудно».<sup>14</sup>

В эпосе повествование о человеческой личности, ее судьбе вскрывает закономерности исторического развития. Формы лирического рассказа о времени найдены Пастернаком в его поэмах. Революционная Россия оказывается в центре лирической темы в поэме „1905 год“. Рисуемые поэтом „отдельные картины“, стремительно сменяя одна другую, передают ощущение нарастающей революционной волны. В этом пестром калейдоскопе событий, подмеченных зорким взглядом не участника, а наблюдателя, раскрывается высокая правда революции.

В поэме „Лейтенант Шмидт“ поэт ставит перед собой задачу показать революцию через душу человека и добивается замечательной глубины изображения. Революция, величие ее раскрывается словно бы изнутри — в высоком благородстве, в чистоте душевных помыслов главного героя поэмы, лейтенанта Шмидта.

Как убеждают, в частности поэмы Пастернака, границы лирики и эпоса в новую эпоху оказываются весьма зыбкими. С одной стороны, лирическая поэма все чаще тяготеет теперь к эпической широте, а с другой, все глубже — не отступлениями, а органическим элементом — входит в эпос лирика. Неожиданный расцвет баллады — жанра, находящегося на пересечении лирики и эпоса, — лишний раз свидетельствует об этом усилении взаимопроникновения лирики и эпоса. Жанр, история которого в русской поэзии неотделима от истории романтизма, вновь становится в строй действующих.

В начале 20-ых годов жанр баллады разрабатывается наиболее интенсивно Н. Тихоновым. Именно в балладе оказывается для него возможным сохранить присущий советской поэзии этих лет высокий романтический пафос и одновременно схватить в стихе существенные черты эпохи. Лежащий в основе баллады последовательный *рассказ* о событиях сообщает стихотворному изображению объективированность; в то же время традиции этого романтического жанра допускают в таком изображении субъективное смещение проекций. В результате, изображение в балладе, не теряя реальных очертаний, оказывается способным нести повышенную эмоциональную нагрузку. Не это ли привлекло в балладе поэта, вошедшего в поэзию с героической темой?

Тихонов взрывает присущую балладе описательность: детали изображения включаются у него в стремительно развивающееся действие. Однако, это не только насыщает стих напряженным динамизмом, но и сообщает определенную однолинейность развитию мысли, переживания в нем. Это отметит сам поэт, сказав: „Баллада — скорость голая, романтики откос”.

Этой „скорости голой“ Тихонов пытался противопоставить статичность описательной поэмы („Шахматы”, 1923). Статичность, однако, весьма мало способствовала отображению эпохи; преодолеть это свойство описательных жанров Тихонов стремится в поэме „Лицом к лицу” (1924). Как верно заметил Ю. Тынянов, здесь „описание установлено на сюжет, связано с ним”.<sup>15</sup> Процесс формирования характера в поэме оказывается художественно убедительным потому, что включен в процесс исторический: годы революционных битв превратили героя поэмы из „невеликого поденщика” в человека.

<sup>14</sup> „На литературном посту”, 1927, № 4.

<sup>15</sup> Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы. (Ленинград), изд. „Прибой”, 1929, стр. 37.

Стремление внести в стихотворное повествование историю и ею поверять поведение своих героев является одним из доказательств усиления эпических тенденций в советской поэзии 20-ых годов. Свидетельством этого процесса может служить и все усиливающееся в поэзии тяготение к формам сюжетным. Сюжет, по словам Горького, вскрывает „связи, противоречия, антипатии и вообще взаимоотношения людей, историю роста и организации того или иного характера”. А именно это и составляет специфическое свойство эпической поэзии.

В советской поэзии середины и второй половины 20-ых годов получает широкое распространение лиро-эпическое повествование, сюжет которого движется развитием истории жизни героя. Собственно лирическое способствует здесь повышению эмоционального накала — и в конечном счете, действенности стиха. Судьба человеческая при этом непосредственно соотносится с движением истории — так обнаруживается истинная ценность создаваемых поэтом характеров.

В водоворот революционных событий оказывается втянут герой поэмы С. Есенина „Анна Снегина” (1925). Проникновенный тонкий лирик, Есенин и в этой — лиро-эпической, по его собственным словам, — поэме не изменил природе своего дарования. Лирическое повествование (рассказ о встречах героя поэмы с Анной Снегиной) лежит в основе сюжета. Развивается оно последовательно, о достигаемой при этом психологической глубине раскрытия образов в критике сказано достаточно много. Но органически включается в повествование и рассказ о событиях в деревне и шире — в стране. Рассказ этот в поэме Есенина еще подчинен задаче раскрытия образа главного героя. Вместе с тем встающая к новой жизни деревня изображена здесь с той широтой, которая присуща созданиям эпическим. Любовная история разворачивается на фоне решающих социальных потрясений в жизни страны. Деревня, поднявшаяся на борьбу за землю, оказывается не просто фоном — участником событий в жизни героев поэмы. Кажущаяся необязательность, с которой соединяются в поэме две сюжетные линии, эпического свойства: именно в эпосе связь отдельных элементов повествования может ощущаться весьма слабо, что позволяет представить изображаемое как часть бытия.

Эпическое начало выражено еще отчетливее в поэме Э. Багрицкого „Дума про Опанаса” (1926), вскрывающей закономерности человеческой судьбы в водовороте революционных событий.

Герой поэмы, Опанас, совершает волевым, по его мнению, акт: дезертирует из продотряда. Но логика истории господствует в поэме: поступки человека и — шире — судьба его определяются тем, какое место занял он в развернувшейся вокруг великой борьбе. Выйти из этой борьбы нельзя, стремление к покою ведет к измене революции. Дезертировав из продотряда, Опанас не стал хозяином своей судьбы. Напротив, именно теперь он делает то, против чего протестует его совесть.

Трагическая судьба Опанаса предстает в поэме Багрицкого как один из вариантов того пути, которым пошло во время революции крестьянство. Бесславная участь Опанаса убеждает в том, что путь этот отвергается самой историей.

Но особенно отчетливо процесс все более глубокого и одновременно все более широкого освоения действительности в советской эпической поэзии прослеживается в творчестве Маяковского. В его поэзии наиболее полно

раскрылись возможности историко-хроникального жанра, занявшего едва ли не ведущее место в советском стихотворном эпосе 20-ых годов.

Вершинами советской поэзии, во многом предопределившими пути ее развития, стали поэмы Маяковского „Владимир Ильич Ленин” (1924) и „Хорошо” (1927).

Важно отметить прежде всего масштабность лирического повествования в этих поэмах. Лирическое начало, являясь в них основным структурным элементом, играет исключительную роль в динамическом изображении эпохи. История становится непосредственным объектом художественного изображения, но открывается она поэту, в первую очередь, „изнутри”, как непосредственно пережитое. Знаменитые строки из поэмы „Хорошо” — „это было с бойцами или страной, или в сердце было в моем” — точно выражают это новое качество поэзии. Отсюда — и масштабность поэм, и масштабность стоящего в центре их образа лирического героя. Лирическое переживание в поэмах движется историей страны, народа, „общее” становится глубоко личным, своим.

Воедино сливаются — в особенности в поэме „Хорошо” — историзм и лирика. И дело не только в том, что в поэме многосторонне и полно выявляется связь судьбы героя поэмы с судьбой Родины. Сама эта полнота и многосторонность находят объяснение во все возрастающей широте взгляда на мир. Освобождение от ограниченности представлений позволяет вскрыть во всей сложности строй мыслей и чувств человека новой эпохи.

Раскрывая средствами лирики стоящий в центре поэм характер, Маяковский воссоздает при этом ход истории, облик страны Советов. И в этом слиянии историзма и лирики, глубокого проникновения в мир чувств человека и эпической широты стихотворного повествования — то главное, чем обязан Маяковскому советский стихотворный эпос.

В заключение отметим, что развитие советского стихотворного эпоса в 20-ые годы характеризуется все возрастающим жанровым и тематическим многообразием.

Здесь дают себя знать общие для всего советского искусства тенденции ко все более широкому и глубокому освоению революционной действительности. Тяготение к масштабности изображения все теснее соединяется с пристальным вниманием ко всем сторонам жизни Советской страны, к тому новому, что вносит время в облик человека.

Как справедливо отмечено исследователями, „состояние мира, ярко выявившееся после революции, определило мощное возрождение эпического начала”.<sup>16</sup> Это помогает понять причины того, что роль эпических форм в поэзии 20-ых годов все возрастает. Сходные по существу процессы идут в прозе и драматургии. Середина 20-ых годов ознаменована появлением повестей и романов А. Серафимовича, Д. Фурманова, К. Федина, Л. Леонова и др., дававших эпически широкую, многокрасочную картину революционной действительности. Появление героико-революционной драмы, связанное с именами В. Билль-Белоцерковского, К. Тренева, Б. Лавренева и др. свидетельствует о рождении советского драматургического эпоса.

Поиски в области эпических жанров в поэзии 20-ых годов оказались чрезвычайно плодотворными. Они были подхвачены и продолжены в советской поэзии в последующие годы.

<sup>16</sup> Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры литературы. Москва, изд. „Наука”, 1964, стр. 171.

К ПЕРЕВОДУ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ ЭНДРЕ АДИ  
НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Н. П. Киселева

ОСЕНЬ ПРОКРАЛАСЬ В ПАРИЖ

Осень в Париж на бульвар Сен-Мишель  
Тихо прокралась вчера и со мною  
Встретилась там, под густою листвою,  
Тихой от зноя.

Шел я на Сену тогда, и в душе  
Вспыхнули вдруг хворостиночки песни-  
Дымные пурпурные огоньки,  
Смерти предвестье.

Осень настигла. И вздрогнул бульвар.  
Осени губы мне что-то шепнули.  
Пестрые листики-шутники  
С веток спорхнули.

... . Лето очнулось. И в этот же миг  
Осень, смеясь, из Парижа бежала.  
Все это понял лишь я, да листва  
Чуть задрожала.

PÁRISBAN JÁRT AZ ŐSZ

Párisban tegnap beszökött az Ősz.  
Szent Mihály útján suhant nesztelen,  
Kánikulában, halk lombok alatt  
S találkozott velem.

Ballagtam éppen a Szajna felé  
S égtek lelkemben kis rózse-dalok:  
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,  
Arról, hogy meghalok.

Elért az Ősz és sűgött valamit,  
Szent Mihály útja beleremegett,  
Zűm, zűm: rűpkűdtek vėgig az uton  
Trėfás falevelek.

Egy perc: a Nyár meg sem hűkűlt belė  
S Párisbűl az Ősz kacagva szaladt.  
Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán  
Nyűgű lombok alatt.

Стихотворение венгерского поэта Э. Ади „Párisban járt az Ősz” было переведено на русский язык видным советским поэтом и переводчиком Л. Мартыновым. Первая публикация стихотворения относится к 1952 году, когда вышел в свет сборник „Антология венгерской поэзии”. Но понимание творчества поэта, как это видно из вступительной статьи к стихам Ади, помещенным в сборнике, сводилось к очень упрощенной схеме: „Однако трагическая противоречивость венгерской действительности начала XX века наложила свой отпечаток на его поэзию; Ади недостаточно был слит с жизнью народа, поэтому не мог быть уже таким цельным поэтом, каким был Петефи; в силу этого некоторые его лирические стихи окрашены настроениями пессимизма”.<sup>1</sup>

С этим положением нельзя согласиться, так как, во-первых, здесь не полностью раскрывается причина „пессимистических” настроений поэта, а во-вторых, пессимизм как „мрачное мироощущение, при котором человек во всем склонен видеть дурное, неприятное”<sup>2</sup> и трезвый взгляд на вещи — не одно и то же. Мысль Ади о смерти не случайна, и многие его стихи — это прежде всего исповедь о духовной драме самого поэта, отсутствие же иллюзий и самообмана еще не свидетельствует о пессимизме. Стихотворение „Párisban járt az ősz” один из откровенных монологов Ади, где драматичности и интимности мыслей соответствует простота и лаконичность их выражения.

К этой теме поэта и смерти Мартынов подходит несколько иначе. В переводе монолог поэта преломляется в слове переводчика, который по-своему переосмысливает стихотворение: мысль о смерти у Мартынова, выраженная торжественнее, становится более отвлеченной, и соответственно этому откровение поэта подменяется рассуждениями, а трагизм многих моментов сглаживается. Дело здесь, конечно, не только в изменении значений слов и синтаксических конструкций, но и в разном подходе к одной и той же теме и в разном ее выражении, что во многом уже зависит от поэтической индивидуальности переводчика. Лирика Мартынова, пронизанная философскими размышлениями „о времени, о человеке, о преходящем и вечном. . .”, богата „усложненной метафоричностью и многозначной символикой.”<sup>3</sup>

Творческие поиски Мартынова как переводчика направлены, прежде всего, на отказ от буквального перевода. С этим стремлением Мартынова найти эквивалентную замену и выбрать нужное слово мы встречаемся уже в переводе заглавия: „Осень прокралась в Париж.” Сам Ади придавал большое значение названиям стихотворений, являющимся первым моментом в активном вос-

<sup>1</sup> Антология венгерской поэзии. М., 1952, стр. 301.

<sup>2</sup> С. И. Ожегов. Словарь русского языка. М., 1953, стр. 465.

<sup>3</sup> Ал. Михайлов. Связь времен. „Вопросы литературы”, 1966, № 6, стр. 59, 66.

приятии стиха. Об осени уже в заглавии говорится как о живом существе: „járt” — *ходила, была*. Употреблением глагола „прокралась” вместо *была* вносятся новые оттенки: прокрасться — значит „проникнуть куда-нибудь крадучись, тайком.”<sup>4</sup> Редуцированный звук в заударном слоге „прокралась”, произносящийся нечетко, глухой согласный *s*, стоящий в конце, и оглушение согласных в соседних словах „в Париж” (фпариж) способствуют созданию впечатления крадущихся „шагов” осени.

Правда, один общий оттенок сближает эти глаголы: они употребляются с существительными, относящимися к категории одушевленности. В данном случае совсем «не приходится смущаться „мифологичностью” терминов „одушевленный” предмет и . . . „категория одушевленности”. . .»<sup>5</sup>, так как специальным подбором слов в стихотворении осень не просто олицетворяется, но и уподобляется таинственному мифологическому существу: „suhant nesz-telen”, „találkozott”, „elért”, „kacagva szaladt”. Точный перевод этих глаголов („тихо прокралась”, „встретилась”, „настигла”, „смеюсь. . . бежала”) сохраняет уподобление осени фантастическому существу, а выражение „Осени губы” вместо „az Ősz” — *осень* это сходство еще больше усиливает. Из трех основных значений глагола „súgni” („Elért az Ősz és súgott valamit”) — „шептать, шепнуть, прошептать”<sup>6</sup> удачно выбран глагол совершенного вида „шепнули” („Осени губы мне что-то шепнули”) с оттенком мгновенности, точнее передающий непродолжительность события, выраженную в оригинале лексически: „Egy perc” — *одна минута*.

Но время переживания более неопределенно, чем время события. В переводе второй части сложносочиненного предложения „S égtek lelkemben kis gőzse-dalok” — *и горели в душе моей хворостиночки песни* вместо глагола „égtek” — *горели* употреблен глагол „вспыхнули”, усиленный наречием „вдруг”, которое не вносит нового значения в предложение, так как уже в самом глаголе „вспыхнуть” заключено значение внезапности действия: „. . . и в душе /Вспыхнули вдруг хворостиночки песни. . .” Несмотря на то, что совершенность и несовершенность не исключает степеней длительности, все-таки „суффикс -ну- ограничивает такое действие пределами одного акта, одного момента, мига, т. е. придает глаголу значение недлительности, мгновенности, одноактности, моментальности.”<sup>7</sup> Таким образом, изменение значения „égtek” — *горели* и включение нового слова „вдруг” снижает драматическую настроенность стихотворения. Правда, венгерский литературовед М. Бенедек также отмечает, что „в этой короткой истории появления и исчезновения осени чувствуется минутное настроение смерти.”<sup>8</sup> По нашему мнению, стихотворение не дает оснований для такого толкования. Вторая строфа связывается у Ади с первой наречием „éppen” — *тогда: как раз в то время, когда осень прокралась в Париж и встретила со мной, я шел к Сене и думал о смерти*. Как видно, здесь выражены временные отношения явлений, не зависящих друг от друга, значит мысль о смерти не вызвана осенью и независима от состояния природы. Исходя из этого, правильнее было бы рассматривать осень как символ смерти, а не минутного настроения смерти.

<sup>4</sup> С. И. Ожегов. Словарь русского языка. М., 1953, стр. 561.

<sup>5</sup> В. В. Виноградов. Русский язык. М.—Л., 1947, стр. 89.

<sup>6</sup> Hadrovics-Gáldi: Magyar—orosz Szótár Bp. 1952, стр. 1126.

<sup>7</sup> В. В. Виноградов. Русский язык. М.—Л., 1947, стр. 438.

<sup>8</sup> Miért szép? Bp. 1967, стр. 28

Предположение, что мысль о смерти у Ади не случайна и не мимолетна, подтверждается как биографией поэта, так и высказываниями его друга — Д. Белени о том, что Ади был постоянно погружен в мысли о смерти.<sup>9</sup> Сравнивая же окончательный вариант стихотворения с черновиками<sup>10</sup>, можно заметить, что единственной строфой, написанной совершенно без изменений, была именно вторая строфа — монолог поэта о смерти. Не свидетельствует ли это еще раз о том, что именно постоянно и глубоко занимавшие Ади мысли нашли сразу точное выражение в стихе.

Вторая строфа — это трагедия человека, выходящая за рамки одноментности. На выразительность эпитетов во второй части сложносочиненного предложения этой строфы „S égtek lelkemben kis rözse-dalok: Füstösek, furcsák, búsak, bíborak”, — и *горели в душе моей хворостиночки песни: дымные, странные, грустные, пурпурные* обратили внимание многие исследователи. М. Бенедек особый характер этих эпитетов видит в их необыкновенном сочетании с определяемым словом *хворостиночки песни*<sup>11</sup>: „füstösek” — *дымные* является еще обычным эпитетом, так как усиливает признак, содержащийся в понятии горящих хворостинок, но эпитеты „búsak, bíborak” — *странные, грустные*, привычные в стихах, где Ади говорит о своей поэзии или о своем настроении, в данном сочетании представляют собой уже новые неповторимые эпитеты. Интересно замечание Бенедека о связи эпитета „bíborak” — *пурпурные* не только с определяемым словом, но и с последующей строкой „Arról, hogy meghalok” — *о том, что я умру* (к сожалению, объяснение этой связи им не было дано). Опираясь на опыты „фонетического символизма”, напр., о связи звука и цвета, (Р. Якобсон и его последователи считают, что „низкие” звуки-губные, задненебные согласные и гласные переднего ряда, образующиеся в большей по объему и менее расчлененной ротовой полости, воспринимаются как темные<sup>12</sup>), можно высказать догадку, что связь эпитета „bíborak” со строкой „Arról, hogy meghalok” основана на цветовом признаке: „bíborak” — *пурпурные* словесное обозначение цвета и „темный” цвет, созданный звуковой тканью всей строки „Arról, hogy meghalok”, где явно преобладают „низкие” звуки.

Экспрессивность определений „Füstösek, furcsák, búsak, bíborak” достигается не только необыкновенным сочетанием слов, но и их звуковой тканью: нагнетением слов с повторяющимися согласными — *f... f... b... b...*, контрастным употреблением гласных, высоких и низких, коротких и долгих, что сказывается и на выразительности соседних согласных — *fű* (высокий гласный), *fi...* (низкий), *bí...* (низкий и долгий), *bí...* (высокий). Напряженность, созданная подбором этих эпитетов, смягчена в переводе не только сокращением количества слов, но и нарушением порядка слов: инверсия прилагательных у Ади способствует нарастанию напряжения.

В таком экспрессивном окружении драматично и убедительно может прозвучать только мысль, выраженная просто и лаконично „Arról, hogy meghalok” — *о том, что я умру*. И сила художественного слова такова, что она заставляет поверить, что это не заигрывание со смертью. Употреблением

<sup>9</sup> Bölöni György: Az igazi Ady Bp. 1966, стр. 50.

<sup>10</sup> См. в книге Bölöni György: Az igazi Ady Bp. 1966, стр. 112—114.

<sup>11</sup> М. Benedek в сборн. „Miért Szép?”, Вр., 1966, стр. 26—27.

<sup>12</sup> Г. Н. Иванова-Лукиянова. О восприятии звуков. Сб. „Развитие фонетики современного русского языка.” М., 1966, стр. 136—143. В том же сборнике. Е. В. Орлова. О восприятии звуков., стр. 144—154. М. В. Панов. О восприятии звуков., стр. 155—162.



подчинительной связи создается большая слитность частей предложения: относительное местоимение „*arról*” — о том подчеркивает конкретность предмета мысли, а дополнительное придаточное предложение, присоединенное союзом „*hogy*” — что, сосредоточивает внимание на содержании мысли, причем, основную смысловую нагрузку несет в себе придаточная часть предложения. Это видно хотя бы из того, что время действия придаточного предложения „*meghalok*” — *умру* является безотносительным ко времени действия главной части предложения „*égték*” — *горели*. Настойчивое повторение глаголов и местоимения 1-го лица „*ballagtam*” — *я брел*, „*meghalok*” — *я умру*, „*lelkemben*” — *в моей душе* сильнее выделяет личность поэта.

Венгерскому глаголу „*meghalok*” соответствует русский глагол *умру*. Семантическое значение слова *умру* усиливается повторением гласного переднего ряда *у*, относящегося к „низким” звукам, с которыми связываются представления чего-то темного, глубокого, печального, и согласным *м*, который также относится к „темным”, „низким” звукам, вызывающим отрицательные эмоции. К отбору слов со звуком *у* для выражения гнетущего чувства или увядания природы неоднократно прибегали русские поэты. У Бунина: „Но осень-мир. Мир в грусти и мечте, / Мир в думах о прошедшем, об утратах”, у Пушкина: „душой уснув, безмолвно я грущу” („Увядание”), у А. К. Толстого: „Грусть под думами под могучими / В душу темную пробивается” или, напр., о колодниках, затянувших песню — „Поют про свободные степи, / Про дикую волю поют, / День меркнет все боле, — а цепи / Дорогу метут да метут.”<sup>13</sup> Мартынов отказывается от употребления глагола *умру* и вместо лаконично выраженной мысли о смерти дает развернутую метафору: „Вспыхнули . . . хворостиночки песни. . . / Смерти предвестье.” Таким образом, в русском переводе мотив хворостиночек песен становится символом смерти вообще, безотносительно к поэту, а самораскрытие поэта подменяется как бы раздумьями о смерти. Соответственно этому употребляются слова книжного характера: „вспыхнули” вместо „*égték*” — *горели*, „смерти предвестье” вместо „*meghalok*” — *умру*, что, в свою очередь, приводит к изменению строя внутренней речи.

Но если отбор слов сказывается, в первую очередь, на стиле перевода, то изменение в синтаксической композиции оригинала приводит к нарушению последовательности явлений и даже к неправильной передаче хода мыслей поэта. В соответствии с ясной монологической речью у Ади преобладают простые, бессоюзные, а также двучленные сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, передающие сцепление мыслей и взаимообусловленность явлений. Порядок расположения простых предложений в бессоюзных сложных (третья строфа) является средством выражения смысловых отношений и нарушение его привело к изменению последовательности явлений. У Ади листья спорхнули, т. к. вздрогнул бульвар, а бульвар вздрогнул от тех слов, которые ему шепнула осень. В переводе дается совсем другая причинно-следственная связь: „Осень настигла. И вздрогнул бульвар. Осени губы мне что-то шепнули”, при которой последнее предложение не выполняет отведенной ей в оригинале функции. Во втором предложении четвертой строфы у Ади пропущено общее для обоих предложений слово „*az Ősz*” — *осень*, придающее им взаимосвязь, нарушение которой при переводе привело к искажению смысла: указательное местоимение „это” („Все это понял лишь я. . .”)

<sup>13</sup> И. Бунин. Стихотворения. Л., 1961, стр. 338. А. Пушкин. Собрание сочинений. М., 1959, т. I, стр. 374. А. К. Толстой. Собрание сочинений. М., 1963, стр. 149, 90.

— третья строчка — обобщая все содержание предыдущей части четвертой строфы, относится к предложениям „Лето очнулось. И в этот же миг / Осень, смеясь, из Парижа бежала”. Но для Ади важным является не это, а совсем другое: „Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán” — она ( т. е. осень ) была здесь, и то, что она была здесь, об этом знаю только я.

Нельзя не заметить, что „tudom” — *знаю*, единственный глагол, употребленный в настоящем времени, все же остальные глаголы, кроме „meghalok” — *умру*, стоят в прошедшем времени, соответственно наречию „tegnap” — *вчера*. Употреблением настоящего времени Ади подчеркивает значимость для него пережитого, что еще раз свидетельствует о том, что время переживания более неопределенно, чем время события. Внутреннее волнение поэта внешне передается пропусками: „Itt járt” — *была здесь* (пропущено слово „az Ősz” — *осень*), повторением слов „Itt járt, s hogy itt járt”, интонацией сложноподчиненного предложения с его паузами. Н. Гей писал, что „интонационный строй фразы, ее ритмические сломы, паузы тоже, как и в музыке, имеют не только выразительную функцию, но и изобразительную, передают движение души, обнажают всю жизненную ситуацию, которая стоит за переживанием.”<sup>14</sup> Русский перевод: „Все это понял лишь я, да листва / Чуть задрожала”, где акцент делается на описательность, не передает взволнованного состояния и звучит слишком нейтрально.

Обилие пауз в стихе (между предложениями и внутри предложений, ведь в большинстве случаев части предложений являются семантически завершенными и выделяются в самостоятельные синтагмы) придает всему стиху замедленный темп, который служит одним из приемов в передаче состояния поэта, его неторопливых шагов и даже атмосферы душного летнего дня и достигается не только повторяющимися синтаксическими конструкциями, но и нисходящей стопой, отбором слов, монотонным повторением звуков.

В стихотворении очень много слов с близко расположенными друг к другу долгими слогами, замедляющими темп стиха. В венгерском языке на долготу слога оказывают влияние как долгие гласные, так и сочетание согласных, в последнем случае либо короткие гласные, стоящие перед согласными *r, l, j, ly* произносятся длинее, либо время, затраченное на произнесение согласных сказывается на продолжительности звучания всего слога.<sup>15</sup> Приведем только несколько примеров: *Párisba, tegnap, halk, lombok, alatt, ballagtam, lelkemben, röpködtek,*

Из всех этих слов в ритмику стихотворения удивительно вписывается „ballagtam.” семантическое значение которого *медленно шел, брел* усиливается замедленным темпом произнесения слова, благодаря трехкратному монотонному повторению одного и того же звука *a* и двойным согласным *ll, gt.* „Ballagtam” в переводе заменен глаголом „шел”, не имеющим оттенка медленно шел, но перестановкой слов „Шел я на Сену тогда. . .” (вместо привычного порядка *тогда я шел на Сену*) Мартынову удалось здесь очень точно передать интонацию Ади. Как в этой строке перевода, так и в других неударные слоги расположены близко друг к другу. Л. Щерба отмечал, что при отсутствии скопления неударных слогов „мы имеем дело с некоторым замедлением речи.”<sup>16</sup> Конечно, наличие скопления неударных слогов только в двух строчках (листки

<sup>14</sup> Н. К. Гей. Искусство слова. М., 1967, стр. 107.

<sup>15</sup> Horváth János: Rendszeres magyar verstan, Вр., 1951, стр. 22.

<sup>16</sup> Л. Щерба. Опыты лингвистического толкования стихотворений. „Избранные работы по русскому языку”. М., 1957, стр. 37—38.

шутники и дымные пурпурные) не может изменить замедленный темп русского перевода, соответствующий темпу оригинала.

Большую роль в выразительности стиха играет также звуковой строй. Звуковые повторы, один из любимых приемов Ади, оттеняет монотонную однообразную интонацию: *beszökött az Ősz, szent — nesztelen — suhant, halk — alatt, elért — beelermegett*. Чтобы почувствовать значение аллитерации и ассонанса в стихе, достаточно сравнить второе предложение первой строфы с первоначальными вариантами, где повторов нет: первый черновой вариант — „*suhanva szállt a Szent-Mihály úton*” второй черновой вариант „*suhanva jött a Szent Mihály úton*”<sup>17</sup> и окончательный вариант „*A Szent Mihály útján suhant nesztelen.*”, т. е. слова сцепляются не только по принципу логического значения, но и по принципу речи выразительной. Осень с шумом ветра, шелестом и шорохом листьев воспринимается ошутимее благодаря сочетанию слов, где часто встречаются щелевые согласные *sz, z, s*:<sup>18</sup>

„*Párisba. . . beszökött az Ősz*”, *Suhant nesztelen*”, „*az Ősz és sügött valamit*”, „*Züm. . . tréfás falevelek*”, „*S Párisból az Ősz . . . szaladt*”. В переводе инструментовка звуков *с, з, ш* сохранена в третьей строфе: „Осень настгла. . .”. „Осени губы мне что-то шепнули”. „Пестрые листики-шутники / С веток спорхнули.” Лексическое значение слова „*nesztelen*” *бесшумный* усиливается особым подбором слов „*Mihály*”, „*suhant*”, где повторяется звук *h*, который, обладая слабой силой (при его образовании воздушная струя почти нигде не встречает препятствий) лучше всего передает тихие движения. В двух последних строчках первой строфы семь раз употребляется звук *l*: „*Kánikulában, halk lombok alatt / S találkozott velem*”. Не случайно, из всех слов венгерского языка, обозначающих зной, жару выбрано „*kánikula*”. Вялость, сопутствующая образованию *l* (при образовании средневропейского *l* кончик языка едва касается альвеол) используется поэтами для передачи томного, ленивого состояния или настроения.

Что касается рифмы, то как в оригинале, так и в переводе вторая строка рифмуется с четвертой, но если у Ади во всех четырех строфах рифмуются разные части речи, и, таким образом, слова звучат выразительнее, то в переводе в двух случаях рифма довольно бесцветна: „шепнули”—„спорхнули”, „бежала”—„задрожала”.

Без сомнения, все перевести, всему найти эквивалентную замену просто невозможно. Совершенно непереводаемым, например, на русский язык является подражание шороху падающих листьев: „*züm, züm*”. Более того, не каждый даже слышит шелест падающего листа, что очень метко было отмечено Паустовским: „Я читал в старых книгах о том, как шуршат падающие листья, но я никогда не слышал этого звука. Если листья и шуршали, то только под ногами человека. Шорох листьев в воздухе казался мне таким же неправдоподобным, как рассказы о том, что весной слышно, как прорастает трава.”<sup>19</sup> Ади не только услышал шуршание падающих листьев, но и передал этот звук в стихе. Не удивительно поэтому, что Жигмонд Мориц, современник

<sup>17</sup> См. в книге Böllöni György: *Az igazi Ady* Вр. 1966, стр. 113.

<sup>18</sup> Венгерский лингвист И. Фонадь объясняет это особенностями образования щелевых согласных, при произнесении которых полость рта представляет собой как бы микрокосмос, где в миниатюре повторяются явления природы, *Fónagy Iván, A költői nyelv hangtanából*, Вр. 1959, стр. 60.

<sup>19</sup> К. Паустовский. Желтый свет. „Избранная проза”. М., 1965, стр. 413—414.

и друг Ади, в своем выступлении об Ади, отмечая аромат его поэзии, его мастерство, говорит о волнении, которое могут вызвать в человеке два слова, всего навсего два коротеньких слова: „Когда Вы аплодируете, когда Ваши глаза начинают блестеть от его волшебных слов, когда весь огромный зал с пылающим лицом и сердцем задыхается от его волшебных слов „züm, züm” — я счастлив, словно это написано мною...”<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Сборн.: Adu-múzeum, Вр., 1924, стр. 11.

## ДВЕ ТЮТЧЕВСКИЕ „ОСЕНИ” В ПЕРЕВОДЕ Л. САБО

Н. С. Салма

Леринц Сабо — первый поэт-переводчик, познакомивший венгерских читателей с лирикой Ф. И. Тютчева. Обращение Л. Сабо к творчеству Тютчева, (которого он считает, наряду с Пушкиным и Лермонтовым, своим любимейшим русским лириком), поэта, чья деятельность проходила в стороне от русской литературной действительности его времени, чей индивидуализм долгое время делал его поэзию поэзией для немногих, представляется нам чрезвычайно интересным. Один из старейших венгерских литературоведов Марцелл Бенедек пишет о мастерстве художника-переводчика: „Положительная оценка заключала уже в том, кого выбирает переводчик. Какая-то духовная близость должна существовать между ним и выбранным поэтом, в противном случае его работа — лишь механическая работа мастера, игра в форму.”<sup>1</sup> Духовная близость, проявляющаяся в одинаковом художественном восприятии мира, двух писателей, разделенных не только языком, средой, традициями, но и целым столетием во времени, тем не менее очевидна: для талантливого венгерского поэта характерны и „углубленный самоанализ” — этот краеугольный камень тютчевской лирики, и художественное воссоздание „картин лирического содержания”, то, что Некрасов назвал у Тютчева „удивительной способностью охватывать характеристические черты картин и явлений природы”,<sup>2</sup> и стремление к „космическо-философским далям”<sup>3</sup> — тютчевская „космогония и натурфилософия”.

Отношение венгерского поэта к языку как к „живой мистической материи” заставило его остановить выбор на лирике чародея слова Тютчева, чья поэзия была признана Фетом и русскими символистами эталоном художественного совершенства.

Леринц Сабо должен был „встретиться” с Тютчевым и для того, чтобы, открыв для себя лирический мир русского поэта, бывшего очень одиноким, несмотря на свой светский образ жизни, великолепными переводами сделав лирику Тютчева фактом венгерской поэзии, самому (по собственному своему признанию) не чувствовать больше самого страшного — одиночества.

Для анализа мы выбрали два стихотворения Ф. И. Тютчева, две „Осени”, во времени написания разделенные двадцатью семью годами и, на наш взгляд, отразившие те изменения, которые претерпела тютчевская форма за этот период.

<sup>1</sup> Benedek Marcell. Irodalmi Hármaskönyv Bp., 1966, 46. old.

<sup>2</sup> Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. IX. стр. 207.

<sup>3</sup> Kis magyar irodalomtörténet Bp., 1961, 352. old.

Стихотворение „Осенний вечер” было написано в 1830 году, когда в журнале С. Е. Раича „Галатея” печатаются „Летний вечер”, „Видение”, „Бессонница”, „Как океан объемлет шар земной” и другие стихотворения, свидетельствующие о зрелости таланта поэта, о неприятии им последекабрьской действительности, о глубине гнетущих поэта мыслей о „забвении занесенном” поколении без будущего. Действительность, как справедливо замечает К. Пигарев, „воспринималась им в непрестанном противоборстве враждующих сил, и это представление о ней переносилось на весь существующий миропорядок.”<sup>4</sup> Такое контрапунктное восприятие мира обуславливало близость космогонии и натурфилософии Тютчева к немецким идеалистическим теориям, в первую очередь к философии Шеллинга, воспринятой поэтом в ее специфической музыкальности, в диссонансах, рождавших гармонию и трансформировавшихся в поэзию. В то же время, тютчевская натурфилософия — явление специфически русское, она сравнима лишь с натурфилософией Льва Толстого, блестяще охарактеризованной Г. Плехановым в статье „Толстой и природа”.

Природа у Тютчева-пантеиста с одной стороны — живое, дышащее, совершенное существо, вызывающее восхищение, в „Грозе”, в „Весенних водах” и в ряде других стихотворений. Такое восприятие природы составляет один из мотивов тютчевской лирики. С другой стороны в тютчевской природе, так же как и в любви, заключено слепое „Нечто” — хаос, рок, губительная, испепеляющая сила, запечатленная в „Природе-сфинксе”, в „Не остывшей от зною”, в „О, как убийственно мы любим” или в стихотворении „Святая ночь на небосклон взошла”. Два контрапунктических голоса иногда сливаются в один аккорд, иногда звучат контрастно; мотивы — противоположные, противоборствующие — то переплетаясь, то расходясь вновь, встречаются в бесконечности, сливаются в единый, и, гармоничный в своем противоречии, образ очеловеченной Природы с ее вечно обновляющейся жизнью противостоит образу Человека, к которому она равнодушна, и его призрачному существованию — этой „тени, бегущей от тени”. Мысль о прозрачности человеческого бытия, такая знакомая поэтам-романтикам, а из современников поэта в особенности Баратынскому, у Тютчева становится основой сознания, окрашивает и пронизывает все творчество.

Тютчевская „Осень” 1830 года построена на двух контрапунктирующих мотивах: „умильная прелесть” светлых осенних вечеров, „таинство” умирающей для того, чтобы вновь возродиться природы составляет один из них. Второй мотив — в „зловещем блеске дерев”, в „порывистом ветре” — „предчувствии сходящих бурь”, в „ущербе и изнеможении”, в зловещих признаках чисто физического уничтожения, сравнимого лишь со смертью человека, и в „стыдливости страданья”, присущей человеку и очеловеченному кротко улыбающемуся осеннему вечеру. Конкретные картины зримого мира становятся у Тютчева теми исходными моментами, посредством которых передается философски осмысленный образ „стыдливости страданья”.

Леринц Сабо в переводе сумел передать и сокровенное, покоряющее колдовство прекрасных осенних вечеров, и нарастающую тревогу кричащих беспокорных красок, и увядание природы, и ее очеловеченное страдание, сочетание красоты и таинственности, столь важное в поэзии Тютчева:

<sup>4</sup> К. Пигарев. Поэтическое наследие Тютчева. В книге: Ф. И. Тютчев. Лирика. М., 1960.

Есть в светлости осенних вечеров  
Умильная, таинственная прелесть. . .

A szép őszi estékben valami  
titokzatos és megható varázs van.

Следующие строки стихотворения Тютчева полны нарастающего смятения:

Зловещий блеск и пестрота деревьев,  
Багряных листьев томный, легкий шелест. . .

В переводе у Сабо — та же тревога: A fák rikító, szilaj színei . . .

(Кричащие, неустойчивые краски деревьев. . .)

Затем тревога сменяется тишиной, смирением перед лицом неизбежного, идет подготовка к развязке: природа все больше приобретает человеческие черты — земля *грустно сиротеет*, а ветер становится *предчувствием* близящихся бурь:

Туманная и тихая лазурь  
Над грустно-сиротеющей землей,  
И, как предчувствие сходящих бурь,  
Порывистый, холодный ветер порою. . .

У Сабо:

A komorodó, fáradt föld felett  
a kék ég s fátyolnyi köd az arcán,  
a le-lecsapó, borzongó szelek,  
melyek mögött már tél sejlik s vad orkán. . .

Тютчевский образ сиротеющей земли заменяется образом земли усталой, хмурающейся, но эмоционально, или ассоциативно, образ сироты, даже скорее вдовы, рождается в великолепной строке:

's fátyolnyi köd az arcán' (С вуалевым туманом на лице. . .).

Заключительные четыре строки свидетельствуют о движении образа от частного к общему, от чувственно-конкретных картин к абстрактному обобщению:

Ущерб, изнеможенье — и на всем  
Та кроткая улыбка увяданья,  
Что в существе разумном мы зовем  
Божественной стыдливостью страданья.

В переводе „ущерб, изнеможение” передаются одним словом 'hanyatlás', (спад), характерная тютчевская оксиморная метафора „кроткая улыбка увяданья” превращается в две: 'élet szelíd mosolya' (кроткая улыбка жизни) и, 'búcsúfénye' (ее прощальный свет), зато две последние строки переведены почти дословно:

Az, amit embernél úgy nevezünk,  
hogy: a fájdalom fenséges szemérme.  
(Что в человеке мы зовем  
Возвышенной стыдливостью страданья.)\*

Последовательно сохранен переводчиком и поэтический перенос, приобретающий особенное значение при движении образа от конкретного к абстрактному: Ущерб, изнеможенье — и на всем mind hanyatlás, s minden ott a tünt  
Та кроткая улыбка увяданья. . . élet szelíd mosolya búcsúfénye. . .

\* В ранней редакции у Тютчева читаем: 12 Возвышенной стыдливостью страданья. Некрасов С., 1854.

Исследователи творчества Тютчева не раз отмечали, что его поэзии присущ некий скрытый символический смысл. Подтекст лирических стихотворений рождался не только в результате глубокого проникновения мысли и образа, но и во многом создавался той материей, из которой строился стих — словом, которое в лирике перестает быть адекватным точному названию понятий, „ибо нельзя точно назвать сложное, смутное, противоречивое состояние души”.<sup>5</sup> „Поэзия, — пишет Гр. Гуковский, — условный ключ, открывающий тайники духа и восприятия самого читателя. Самый метод становится субъективным, и слово теряет свою общезначимую терминологичность, свойственную ему в классицизме. Слово звучит как музыка, и в нем выступают эмоциональные обертоны, оттесняя его предметный объективный смысл. Значение слова поэта в этой системе — не в словаре, а в душе читателя, ассоциативно отликающейся на призыв словесной мелодии.”<sup>6</sup> Перед переводчиком Тютчева стояла задача найти в венгерском языке и так использовать словесный материал, чтобы он составил словесную мелодию, вызывающую у венгерского читателя примерно те же ассоциации, какие мелодия тютчевского стиха вызывает у читателя русского. Эту задачу понимал и сам Леринц Сабо; в предисловии к собранию своих художественных переводов он писал: „В языке есть свои особенности, вечные законы и изменчивые капризы. . . Лучшие образцы художественных переводов, решив языковые задачи, достигают такого же результата воздействия, как и оригинальные произведения.”<sup>7</sup> В этом плане на первое место выдвигалась мелодика тютчевского стиха, под которой мы понимаем как эвфоническую выразительность, так и — вслед за Эйхенбаумом — „сочетания определенных интонационных фигур, реализованных в синтаксисе.”<sup>8</sup>

Леринц Сабо отлично справляется и с этой задачей: первые строки стихотворения „Осенний вечер” построены у Тютчева на сочетаниях согласных: с, ст, св, ч, ств, создающих слуховой эффект тихого шелеста осенних листьев; Сабо сохраняет в переводе эту звуковую выразительность: нарастающая тревога следующих строк подчеркивается повтором звука „i” (rikító; szilaj. szinei), а смягчающий тревогу легкий шепот листьев — двойным повторением артикля *a* с последующим сочетанием „ha”:  
„*a* harsányót *a* halk hervadásban”.

Четыре строки тютчевского стихотворения — 5, 6, 7, 8 — построены с использованием различных сочетаний гласных *o*, *y*, *yo*, усиливающих ощущение грусти, уныния и безнадежности. Некрасов писал о том впечатлении, которое произвели на него стихи Тютчева: „Каждый стих его хватает за сердце, как хватают за сердце в иную минуту беспорядочные, внезапно набегающие порывы осеннего ветра: их и слушать больно, и перестать слушать жаль.”<sup>9</sup> Сабо в переводе достигает того же эффекта использованием ассонансов.

Синтаксическая структура перевода соответствуют оригиналу, но не всегда последовательно: двенадцать строк „Осеннего вечера” представляют собой у Тютчева одно предложение, и в этом отношении стихотворение это не менее совершенно по форме, чем известное лермонтовское „Когда волнуется желтеющая нива.”

\* \* \*

<sup>5</sup> Гр. Гуковский. Пушкин и русские романтики. М., 1966, стр. 47—48.

<sup>6</sup> Там же.

<sup>8</sup> Цит. по Поэтическому словарю. А. Квятковский. Поэтический словарь М., 1966, стр. 154.

<sup>9</sup> А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. IX, стр. 207.



Двадцать семь лет спустя, 22 августа 1857 года, по дороге из Овстуга в Москву экспромтом Тютчев пишет еще одно стихотворение об осени. Переходя к анализу этого лирического этюда, мы должны остановиться на проблеме развития художественного метода поэта. Согласно одной точке зрения, высказанной исследователями творчества Тютчева, его художественный метод окончательно сложился еще до опубликования в Современнике „Стихотворений, присланных из Германии“, и все написанное им позднее не представляет собой чего-либо качественно нового. Другая точка зрения освещает вопрос соотношения элементов реализма и романтизма в позднем творчестве поэта. Поздняя лирика, безусловно, не простое дополнение к ранней: подобного образца реалистической живописи как „Есть в осени первоначальной“ мы не находим в ранней лирике поэта. Мысль выражается здесь иными художественными средствами. Невольно приходят на память строки Бориса Пастернака:

В родство со всем, что есть, уверясь,  
И знаясь с будущим в быту,  
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,  
В неслыханную простоту.

Стихотворение классически просто, а романтический элемент проявляется в „эмоционально-приподнятом, взволнованном восприятии окружающей жизни, в обостренном чувстве прекрасного, в ощущении живой связи человека и природы.“<sup>10</sup>

Есть в осени первоначальной  
Короткая, но дивная пора. . .

В первой строке стихотворения осень названа Тютчевым первоначальной, не ранней, а именно первоначальной. В этом эпитете есть не только свежесть и нестертость, а как будто несущийся со стремительной высоты отзвук колокольного звона, холодноватое и торжественно — щемящее, как далекое горное эхо, звуковое сочетание 'альн', перекликающееся с 'альн' четвертой строки:

Весь день стоит как бы хрустальный. . .

В переводе:

Kora ősszel néha a friss táj  
arcára pirt még csodák tüze fest.  
A nappal tiszta, mint a kristály. . .

Сабо не передает, а может быть просто не хочет передать, тютчевскую простоту и создает изысканно-изыщный образ „окрашенного в румянец огнем чуда лица“ ранней осени. (Иногда ранней осенью огонь чуда окрашивает румянцем лицо свежего пейзажа. . .) Такой образ мог бы родиться и у Тютчева, но в „Осени“ 1830 года его нет; лишь один эпитет 'дивная' мог бы быть воспринят как намек на таинство природы, однако, скорее всего, это синоним слова 'прекрасная'. В третьей строке Сабо находит великолепную рифму 'friss táj—kristály' (свежий пейзаж — хрусталь) для передачи тютчевской рифмы 'первоначальной — хрустальный'.

Завершающая строка первого четверостишия поражает эпитетом „лучезарный“. Интересно признание Паустовского об этом эпитете: „Я слышал

<sup>10</sup> И. В. Петрова. Творчество Ф. И. Тютчева 1850-х — начала 1870-х годов. Автореферат диссертации. М., 1963, стр. 18—19.

это слово еще в юности, („лучезарные вечера” Тютчева), но долго не знал его точного смысла. Только в пожилом возрасте я узнал, что это слово обозначает спокойный, бестрепетный, все озаряющий свет солнечных лучей и чаще всего применяется к свету вечернему или осеннему.<sup>11</sup> Строка перевода 'és fényben tündöklik az est' (И вечер красуется в сиянии) прекрасна по музыке, создаваемой обилием гласных: *é, e, ü, ö, i*.

Тютчевский образ во втором четверостишии рождает две детали — „бодрый серп” и „праздная борозда” — в их противопоставлении:

Где бодрый серп гулял и падал колос,  
Теперь уж пусто все — простор везде, —  
Лишь паутины тонкий волос  
Блестит на праздной борозде.

У С. Антонова в „Письмах о рассказе” сказано о детали следующее: „... ценность детали не в богатстве ассоциаций, не в длине цепи представлений и образов. Ведь вся эта цепь, если бы она была выписана автором, служила бы только средством для того, чтобы воссоздать в душе читателя то же самое ощущение, которое испытывает автор. Свойство случайно найденной детали „четвертого измерения” и состоит в том, что она способна возбудить это результирующее ощущение сразу, как бы минуя всю последовательно-логическую цепь представлений и образов, заставляя читателя подсознательно, с быстротой молнии прочувствовать все промежуточные ступени познания предмета”.<sup>12</sup> В переводе:

Hol sarló járt, s dőlt kalász-rengeteg  
minden kiürült már a messze pusztán  
s fehér pókháló-erezet  
csillog a sok üres barázdán.

(Где серп ходил, и масса колосьев упала  
Все уже опустело в далекой степи.  
И белая сетка паутины  
Блестит на пустых бороздах.)

Тютчевская деталь к сожалению исчезает из перевода. Ощущение пустоты и простора подчеркивается у Тютчева синтаксической структурой предложения, местоимением „все” и следующим за ним наречием „везде”. В переводе только одно местоимение „minden”, строка становится более описательной и менее экспрессивной. Определение „тонкий” („паутины тонкий волос”) в переводе превращается в „белый”, в то время как у Тютчева совсем отсутствуют краски, а все предметы характеризуются не со стороны цвета, а со стороны качества: („короткая, но дивная пора”, „хрустальный день”, „лучезарные вечера”, „теплая и ясная лазурь”, „паутины тонкий волос”). Эпитет „тонкий” усиливает впечатление хрупкости и непрочности, пронизывающее всю картину того переходного времени года, когда все в природе становится зыбким, смещается и переливается одно в другое.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, Mind tágasabb az ég... A dal kihalt belőle.  
Но далеко еще до первых зимних бурь — De messzi még a téli viharok;  
И льется чистая и теплая лазурь s frissen-mosott, meleg azúr-mennybolt ragyog  
На отдыхающее поле... a pihenő mezőkre.

В заключительной строфе у Тютчева дано совершенно необычное сочетание „пустеет воздух”, воссоздающее ощущение прохлады и тишины осеннего

<sup>11</sup> К. Паустовский. Повесть о жизни. М., 1966, стр. 220.

<sup>12</sup> Мастерство писателя. Сб. статей. М., 1961, стр. 195.

неба, удивительное к тому же и по своей звуковой выразительности. Л. Сабо сумел найти прекрасный эквивалент — столь же необычный и выразительный: 'Mind tágasabb az ég' (Все просторнее небо. . .). Однако в переводе тютчевские вполне реалистические образы чуть заметно смещаются в сторону романтического их истолкования: у Тютчева — „Пустеет воздух, птиц не слышно боле. . .”, у Сабо — „Mind tágasabb az ég. . . A dal kihalt belőle” (Все просторнее небо. . . Песня вымерла в нем. . .), у Тютчева — „чистая и теплая лазурь”, у Сабо — „frissen-mosott, meleg azúr-mennybolt” (свежеумытый, теплый, лазурный небесный свод). Но Леринцу Сабо удалось уловить главное: надвигающееся оцепенение и теплоту, ясность и прелесть осени, передаваемые не только строфической композицией и словом, но и доминирующим во всех трех строфах звуком у (у Сабо — 'ü'), в разном окружении согласных и в разных сочетаниях с другими звуками оттеняющим игру тепла и прохлады.

\* \* \*

Одна из основных задач, встающих перед переводчиком поэтических произведений, — найти соответствующий оригиналу ритм, „основную силу, основную энергию стиха.” Интересно определение поэта, данное А. Блоком: „Что такое поэт? — Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Поэт — это носитель ритма.”<sup>13</sup> Созвучия, эпитеты и метафоры в поэзии являются результатом последовательного применения ритма и содержательного совпадения, создающего новые элементы образности. Используя значение, ритм и звучность, поэт создает красоту из обиходных слов, которые сами по себе не имеют никакой поэтической ценности. „Суть проблемы, — отмечает В. В. Виноградов, — в художественной организации, в поэтическом использовании элементов общей речи.”<sup>14</sup>

Леринц Сабо — мастер воссоздавать ритм переводимых стихотворений. Сам большой поэт, он услышал и тревожно нарастающий ритм „Осеннего вечера”, и классически стройный ритм стихотворения „Есть в осени первоначальной”; он уловил также и субъективность, и эмоциональность поэтической семантики Тютчева, растворение предметного значения слова в дополнительных оттенках и значениях.

В числе первых русских поэтов Тютчев смешивает размеры в пределах одного лирического этюда. Таковы его „Сон на море” и „Последняя любовь” — стихотворение, признанное П. И. Чайковским доказательством способности русского стиха к чередованию двух- и трехдольного ритма, столь пленявшего его в немецкой поэзии. Но и основной размер, которым пишет Тютчев, четырехстопный ямб, под его пером приобретает новые черты. „Никогда еще русский четырехстопный ямб до Тютчева не достигал такой величавой красоты (плавности и стремительности одновременно); никогда после Тютчева не достигал он такой виртуозности”,<sup>15</sup> — писал в свое время Андрей Белый. Особенно удачно в переводе передан ритм стихотворения „Есть в осени первоначальной”, написанного смешанным четырехстопным и пятистопным ямбом с появляющимся в последней строфе ямбом шестистопным. Стихотворение „Осенний вечер” удивительно разнообразно по метрике: каждая строка имеет свой неповторяющийся ритмический рисунок. Правильное

<sup>13</sup> Дневник А. А. Блока 1917—1921. М.—Л., 1928, стр. 216.

<sup>14</sup> В. В. Виноградов. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963, стр. 140.

<sup>15</sup> А. Белый. Символизм. Книга статей. М., 1910, стр. 300.

чередование ударных и безударных слогов в строке „Багряных листьев томный, легкий шелест” (○ — ○ — ○ — ○ — ○ — ○) создает ритм размеренного шепота, а безударный слог в строке „Порывистый, холодный ветер порою” (○ — ○○○ — ○ — ○ — ○) действительно, как порыв ветра, нарушает стройность размера. Ритмическое разнообразие тютчевского стиха во многом обуславливается большой насыщенностью его пиррихиями. В одиннадцатой строке стихотворения „Осенний вечер” пиррихий ритмически подчеркивает его законченность: „Что в существе разумном мы зовем. . .” (○○○ — ○ — ○). В переводе Л. Сабо сохраняет ритмическое разнообразие, использует пиррихий в этой же строке: „Az, amit embernél. . .” (○○○ — ○ — ○). Сохраняет он и паузу, имеющую у Тютчева исключительное ритмообразующее значение. Передал Л. Сабо и особенность тютчевской рифмы, проявляющуюся в подготовке ее посредством общности гласных рифмуемых слов: (вечеров — дерев), у Сабо: felett—szelek и др., а также изменение самой рифмы в завершающей стихотворение „Есть в осени первоначальной” строфе, (рифма двух первых строф перекрестная (авав), а в последней строфе — опоясывающая (авва), изменение, подчеркивающее композиционную законченность стихотворения.

Переводы стихотворений Тютчева Леринцем Сабо появились отдельным изданием и, кроме того, вошли в два тома собрания его переводов „Вечные друзья”. Это огромный труд и в то же время высокое искусство. Поэт — переводчик, как подлинный художник, мобилизует все имеющиеся в его распоряжении изобразительные средства, чтобы достичь нужного, соответствующего переводимому тексту, художественного эффекта. Успех приходит тогда, когда поэт-переводчик глубоко осознает процесс движения образа, находит тот элемент, который присущ именно данному поэту и отличает его от какого-либо другого поэта, а слух его настолько обостряется, что слова для него не только что-то значат, но и „звучат всеми своими гласными и согласными.”<sup>16</sup>

Геца Хегедюш в своей книге „О поэтическом мастерстве”, касаясь вопроса художественного перевода, так определяет задачу переводчика: „Самая возможная верность содержанию, даже приближение к дословности, и выражение содержания в самой близкой оригиналу форме.”<sup>17</sup> Богатая венгерская просодия создает неограниченные возможности для перевода с иностранных языков. Леринц Сабо — поэт, которому во многом был близок эмоциональный строй тютчевских стихов, в своих переводах использует эти возможности. В полной мере владея мастерством стиха, он находит для лирики Тютчева великолепные ритмы и мастерски ее инструментует.

<sup>16</sup> Цит. по сб. статей Мастерство перевода. М., 1964, стр. 255.

<sup>17</sup> Hegedűs Géza. A költői mesterség. Вр., 1959, 215. old.

## СОДЕРЖАНИЕ

Букатевич Н. И.	Славянское языкознание в Одесском (б. новороссийском) университете .....	3
Тот И.	Флексия-у местного падежа существительных мужского рода в древнепсковских памятниках .....	9
Шонкой П.	К русскому народно-разговорному языку XVII в .....	13
Пете И.	Категория отчуждаемости и неотчуждаемости в грамматическом строе русского языка.....	21
Карпов А.	Пути развития стихотворного эпоса в советской поэзии 20-ых годов .....	28
Киселева В. Н.	К переводу стихотворения Эндре Ади на русский язык .....	35
Салма Н. С.	Две тютчевские „Осени” в переводе Л. Сабо .....	43

Felelős kiadó: Juhász József

Megjelent: 300 példányban 4,5 (A/5) ív terjedelemben. A kézirat a nyomdába érkezett 1968. május hó

Készült: monószedéssel, íves magasnyomással az MSZ 5603-55 szabványok szerint

68-5965 — Szegedi Nyomda